
повесть
о героях

Гижига
Охотск
Нагаево
Аян
Николаевск
Хабаровск
Владивосток
Сахалин
Камчатка
Япония
-СОВ

ВОДОПЬЯНОВ
ДОРОНИН
МОЛОКОВ
ЛАГЕРЬ
ШМИДТА
м. Северный
м. Ванкарем
КАМАНИН
СЛЕПНЕВ
ЛЯПИДЕВСКИЙ
ЛЕВАНЕВСКИЙ
АНАДЫРЬ
НОМ
СМОЛЕНСК
СТАЛИНГРАД
О. ЛАВРЕНТИЯ
МЕНСКОЕ
АЛЯСКА
М. ОЛЮТОРСКИЙ
КРАСИН



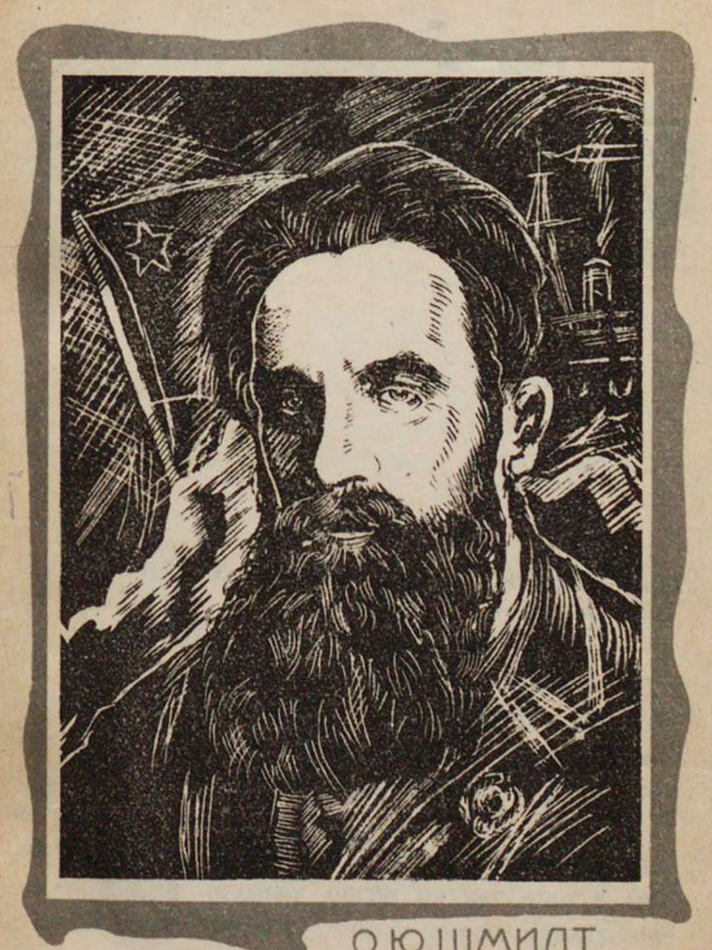
Дальгиз 1934

П. Кулыгин

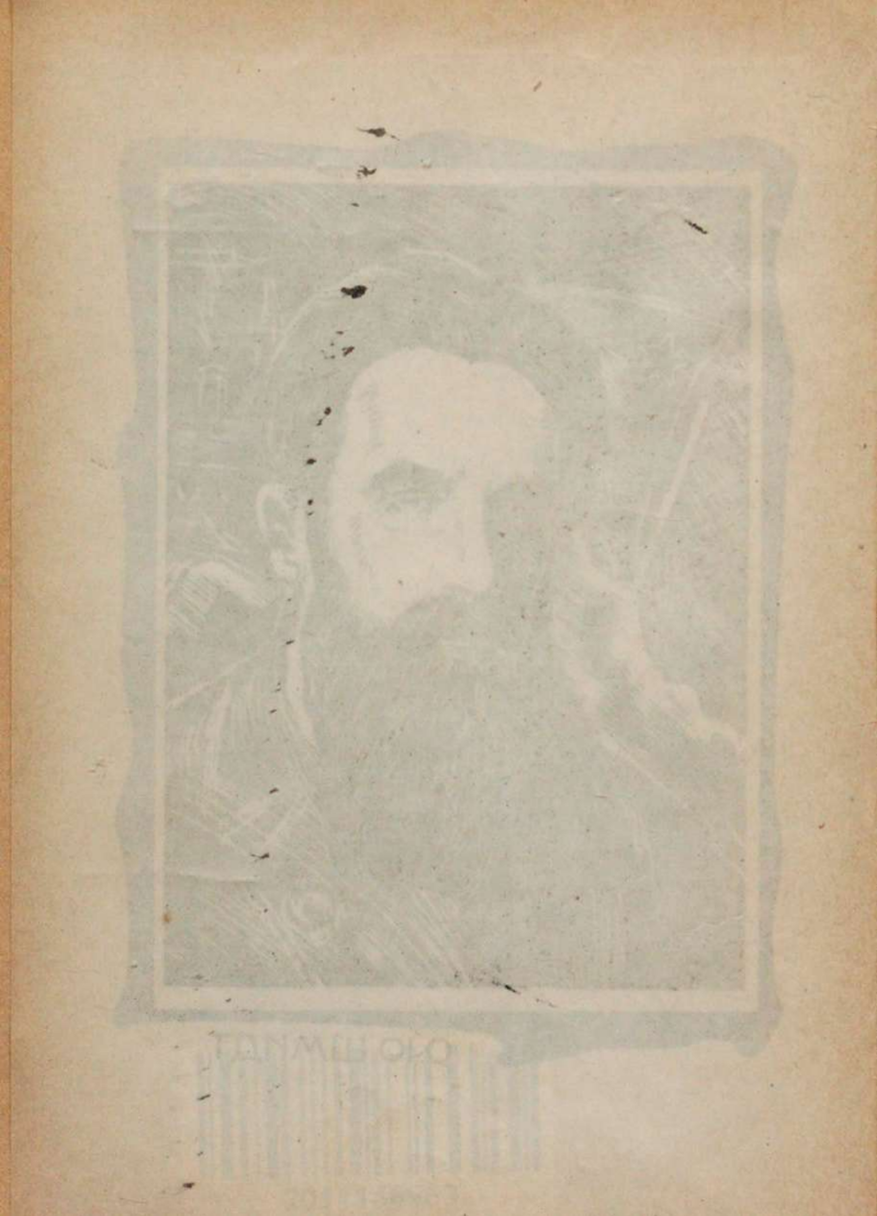
Повесть о героях

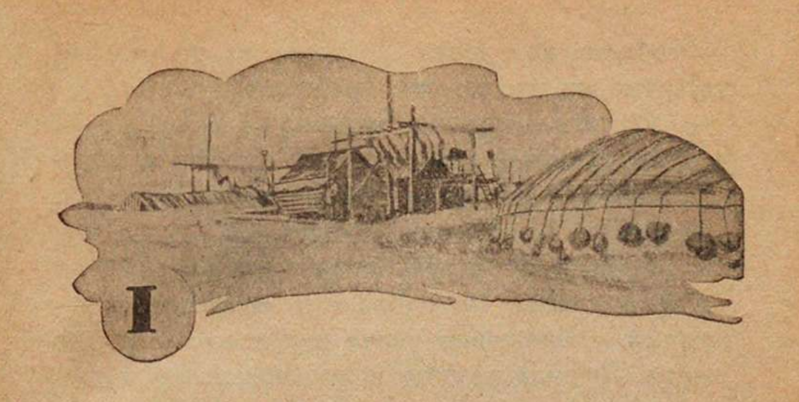


Огиз — Дальгиз
Москва — 1934 — Хабаровск



О. Ю. ШМИДТ





I

ПУРГА СТИХЛА ночью. Она до крыш замела станцию — четыре круглых, похожих каждый на миниатюрный цирк, домика.

В этот ранний утренний час в домиках необычно пусто. Жильцы — гидрологи, магнитологи, радисты, метеорологи — на «аврале». Они прочищают проходы в трехметровом снегу, отгребают снег от окон.

В маленьких комнатках холодно и сыро. Станция новая, и поэтому остро пахнет еще в них краской и клейстером. Обои в сырых пятнах, покрытых сейчас седым бархатом утреннего инея.

Особенно холодно в домиках по утрам. Пар клубится над головными прорехами кукулей.[1]

— Сегодня наша комнатная температура минус двенадцать,—раздается на весь дом зычный голос кого-нибудь из неугомонных метеорологов.

Вылезать из теплого кукуля так не хочется... перспектива одевания на морозе так мало соблазнительна... Но хронометр неумолим, и дежурный, добродушно ворча и ругаясь, покидает кукуль. Полчаса возни у кирпичной плиты в центре домика—температура поднимается до нуля. Встают все, готовится завтрак.

Сегодня утренний подъем прошел несколько по-иному. Два дня бушевала пурга, погребая станцию под сугробами снега. Даже метеорологи не пытались выходить к своим створчатым ящикам, где установлены их приборы. Ноябрьский день здесь короток,—вот почему сегодня поднялись раньше обычного и все сразу.

«Аврал» был недолог. Каждый спешил к своим приборам и инструментам, чтобы наверстать потерянное время.

Гидролог на маленьких чукотских снегоступах[2] ушел в торосы. Там у него «лаборатория»—расставлены приборы, регистрирующие морские течения и состояние льдов. Он идет уже утоптанным следом—еще раньше его в торосы, к новым разводьям, ушли чукчи на охоту за нерпой.

Аэролог, ежась от холода, приплясывает по снегу, радуясь солнцу. Сегодня он уж, конечно, выпустит несколько шаров-пилотов.

Метеорологи, закончив свои обычные утренние наблюдения, ушли в селение. Сегодня надо выпустить праздничную стенгазету. Надо нарисовать на склеенных лентах красной бумаги большой лозунг:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШЕСТНАДЦАТАЯ ГОДОВЩИНА ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

Мужчины из селения почти все ушли на охоту, и все же там царит шумное оживление. После пурги обычно бывает хороший, устойчивый день. Это хорошо знают чукчанки. В разноцветных камлейках[3] они лазят по овальным крышам своих яранг и яростно хлопают по ним ребром нерпы, чтобы отбить и стряхнуть снег. Моржовые шкуры грохочут под ударами ворчливо и глухо.

Кое-кто из матерей, закончив уборку, вынесли из яранг на солнце маленьких детей. Они усадили их к себе на шею и, обхватив руками мохнатые крохотные ножонки, мурлычат нехитрые песенки про полярных сов, хитрых лисиц, про охоту на уммку[4] и о том, как стал богатырем ловкий мальчик Нанкасихата.

Между яранг в шумных играх бегают ребята. Веселые крики, смех звенят в воздухе. У чукотских ребятишек много игр. Здесь несколько мальчиков вцепились в космы ездовых собак, спокойных и ласковых, когда с ними играют ребята. Они собирают их в упряжку и звонко кричат: «Подь-по, подь-по!» Там группа мальчиков поглощена другой игрой — они ловят «оленя». Один из них бегает с обломками оленьих рогов, а остальные стремятся закинуть на них петлю веревочного лассо.

В сторонке у опрокинутых вельботов играет целая гурьба ребят. Они ловят клочки бумаги, которые один из них, взобравшись на вельбот, пускает по ветру.

У маленького домика с высокой цинковой крышей собрались нарты из Наукана и Дежнева. Это — кооперативная лавка. Гемауге — старый приемщик пушнины — развешивает белоснежные шкурки песцов. Гроздьями болтаются они на легком ветру, растянувшись от вышки с красным флажком Уэленского совета до жердей навеса, где сохнут слегка желтоватые шкуры недавно убитых медведей.

Метеоролога Ардамацкого у крыльца самого лучшего дома в Уэлене, подле которого высятся заиндевевшие антенны радиостанции, остановил старик Пеляуге.

— Этти, хоросе-е![5] — улыбается он Ардамацкому.

— Хорошо, хорошо, этти! — отвечает Ардамацкий. — Что нового, Пеляуге? Ты уже с охоты?

— О, Пеляуге был седни там, — и старик показывает снегоступом, который он держит в руке, на гору с курчавым облачком на вершине. Это дежневская гора, а за нею лежит мыс Дежнева — крайняя восточная точка Азиатского материка. Там граница СССР и США — Берингов пролив. На одном из двух островов Диомида — на Большом — живут советские эскимосы, на Малом — американские.

— Ну, что ты там видел, старик? — допытывается Ардамацкий.

— Навэрна парахот там видел Пеляуге, парахот...

— А-а, пароход, — улыбается Ардамацкий. — Это хорошо, хорошо. Против Наукана видел?

— Наукан блисько парахот. Тут Наукан, тут Диомид, вот тут парахот, — Пеляуге чертит на снегу подобие карты.

— Ну, хорошо, хорошо, — Ардамацкий потряс руку чукчи. — Это же «Челюскин», Пеляуге, понимаешь — «Челюскин»! Значит он вырвется. Вот событие! — и, оставив Пеляуге, Ардамацкий побежал на рацию.

Радистка Люда Шрадер встретила его свирепым шиканием. Вперив в одну точку широко раскрытые глаза, она напряженно слушает. Из репродуктора, стоящего перед ней, несется трель азбуки Морзе. Точки и тире наполняют комнату, передавая понятную одной только Люде речь.

— Что такое? — не утерпел Ардамацкий. — Быть может я знаю уже — «Челюскин» в Беринговом проливе?.. Да, правда?

— Ну, да-да, — сердито шепчет Шрадер, кося глазами на репродуктор. — Это стучит Кренкель, я знаю его руку. Они надеются к годовщине Октября быть на чистой воде. Ты понимаешь?!

— Запаздываешь, Люда. Я уже знаю об этом из чукотского телеграфа.[6] Мне только-что Пеляуге сказал, что он видел пароход между Дежневым и Диомидом. Я не поверил...

— Да помолчи ты, пожалуйста. Понимаешь, он просит принять и передать радиограммы в Москву.

Ардамацкий вышел в соседнюю комнату. Здесь был телефон, соединяющий селение со станцией. Дал три звонка.

● ● ●

Летчик одиноко сидел в пустом домике на жесткой дощатой кровати. «Аврал» закончился. Все разбежались по своим делам.

Он скучал. В четвертый раз пустил диск патефона, и комната снова наполнилась надоевшей мелодией. Под аккомпанемент страстных вздохов джаза, модный певец из Канады хрипло заныл: «Поедем, красотка, домой, в старую Виргинию...»

Вчера впотьмах кто-то сел на «Ворошиловский марш», довершив уничтожение музыкальных сокровищ зимовки. Хриплого канадца летчик раскопал на дне своего чемодана. Это был последний из подарков Нома, куда прошлым летом он вместе с Леваневским перебросил Джимми Маттерна, так несчастливо прервавшего свой кругосветный перелет в восьмидесяти километрах от Анадыря...

Три звонка вывели летчика из задумчивости.

— Алло! Кто это? Чернявский? Больше никого нет? — кричал в трубке Ардамацкий. — А ты все трешь последнюю пластинку? Брось! Заткни патефон. Есть очень важное дело. Понимаешь — «Челюскин» в Беринговом проливе, сейчас вот радиограмма... честное слово...

Летчик закрыл патефон и стал одеваться.

— Да, это очень важная новость, — подумал он. — Надо найти Шеломова.

Спотыкаясь и проваливаясь в сугробах, выбрался на дорогу к поселку и остановился, осматривая голубое небо. Легкие нежно-перистые об-

лака высоко плыли к северу. На западе четко обрисовывались рваные контуры сопок, на севере искрились зубцы торосов. Кудрявое облачко по-старому лежало на вершине высокой дежневской горы. Солнце уже склонилось к закату — короткий день кончался. Спокойные фиолетовые тени ложились на снег.

Летчик направился к селению. Вдруг кто-то окликнул:

— Чернявский, постой!

Обернулся. К нему спешил человек в короткой кухлянке.[7] Тонкие ножки его, обутые в фетровые сапоги, глубоко проваливались в снег. Задыхаясь от быстрой ходьбы, он кричал еще издали:

— Чернявский, голубчик, доклад на торжественном заседании все-таки сделаешь ты. И лучше не отказывайся, больше некому. Я тебе помогу подытожить все достижения...

Чернявский улыбнулся.

— Товарищ Шеломов, дело не в этом. Я пошел искать вас по другому случаю. Доклад, если поможете, я, конечно, сделаю, а подумайте-ка вот о чем. Сейчас звонил Ардамацкий — «Челюскин» вон там уже, за Дежневым... вышел в пролив...

— В пролив? «Челюскин»? Не может быть!.. Голубчик, тогда лети! Это же замечательно. Это

надо приветствовать... Обязательно лети сейчас же...

— Куда лети?

— Над ними полетай... Может им надо чем помочь или просто ободрить... А-а? Это же событие! Подумай, второй год такая удача. Раз он в проливе, значит простое транспортное судно прошло Севморпуть в одну навигацию. Норденшельд зимовал, а мы, большевики, второй раз проходим этой ледяной дорогой. Замечательно, чорт возьми. Лети и сбрось им вымпел, я напишу приветствие.

Чернявский еще раз посмотрел на небо, на дежневскую гору, потом взглянул на самолет. Крылатое яркозеленое тело лежало у огромного ящика, в котором его привезли сюда осенью вместе со всеми зимовщиками и оборудованием станции. В этом ящике теперь священнодействовали повара станции.

— Что ж, я слетаю. Это интересно... Пиши...

Круто повернувшись, ушел одеваться, попросив Шеломова растолкать механика, если он спит, и сказать ему, чтоб запустил мотор...

Через полчаса, когда солнце касалось уже сопок, самолет вырулил на старт. Для него спешно расчистили маленькую дорожку. Снег, покрывавший огромную лагуну, был еще рыхлый, без крепкого наста и заструг.[8]

Вокруг самолета с лопатами в руках сгрудилось все население зимовки. Тяжело дыша от внеочередного «аврала», все с завистью поглядывали на Чернявского. Воздушный человек — ему все можно. Вот сейчас, — ну, минут через десять, — он уже увидит, как «Челюскин» берет последние мили своего тяжелого пути. Он первый приветствует челюскинцев — отважных людей из ГУСМП[9] от имени зимовщиков станции ГУСМП на мысе Дежнева.

Летчик готовился к вылету, а от селения к самолету неслись нарты, бежали вразвалку чукчи — взрослые и мальчишки, уже привычно крича: «Самолет, самолет...»

Чернявский открыл полный газ, дал мотору все обороты. Самолет подтолкнули за концы плоскостей, и он, мелко дрожа, заскользил вперед... Минута, и он уже в воздухе. Делая круги, забирается выше дежневской горы...

Набрав тысячу метров, Чернявский лег на курс, которым обычно летают в Ном на Аляску. Перед ним засверкали огромные просторы льда и снега, испещренные фиолетовыми брызгами заката.

Перепрыгнув через вершину горы, самолет понесся над проливом.

Справа, совсем близко, зачернела вода с белыми, точно сахарными, крупинками битого льда.

Прямо — каменные громады островов Диомида, за ними в дымке темные, ломаные полоски — горы Аляски.

Летчик внимательно всматривается в ледяное поле между мысом Дежнева и островом Диомида. Он ищет «Челюскин». Несколько раз принимает за него черные, похожие на тараканов точки, но это разводья, прогалины.

Самолет, разворачиваясь, немного снижается, и внезапно, прямо под собой, летчик отчетливо видит пароход. Он лежит внизу словно впаянный в огромное ледяное поле. Слабый дымок дает знать, что корабль живет.

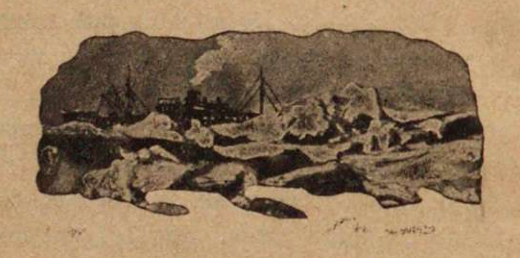
До рези в глазах летчик рассматривает ледяное поле, силясь заметить хоть одну трещину, но их нет. Льдина чиста, и только тени торосов трепещут на ней длинными фиолетовыми языками.

Еще круг, еще ниже опускается самолет, и вот летчик видит, как кишат на палубе букашки-люди. Ему машут флагами, а он, разворачиваясь, идет прямо над кораблем, вычисляя угол, под которым надо сбросить вымпел.

И только теперь он замечает, что корабль стоит кормой к Берингову проливу. До чистой воды этого моря каких-нибудь три мили... но форштевень[10] корабля смотрит прямо во льды Чукотского моря. Все ясно — корабль беспомощен, ко-

рабль во власти дрейфа,[11] во власти сковавшей его льдины.

Летчик бросает вымпел, и он падает у самой кормы...





КАК ВСЕГДА по утрам, капитан забрался в наблюдательную бочку на марсе.[12] То, что он видит сквозь стекла своего цейсса, неморяку-полярнику показалось бы скучной, непонятной картиной Но старый капитан большую часть своей жизни прожил в арктических льдах.



Он провел этим же путем год тому назад «Сибирякова», увенчав его славой. Капитан умеет читать книгу полярной природы. Внимательно и долго изучает торосистый горизонт и небо над ним.

С земли дует все усиливающийся ветер. Этот проклятый южный ветер гонит назад, к северу, из Берингова пролива ледяное поле, мертвой хваткой стиснувшее пароход. Вахтенный штурман сегодня докладывал уже, что дрейф усиливается, что льдина тащит пароход к северу со скоростью полторы мили в час...

Еще раз взглянув на безоблачное небо, капитан спустился вниз. Молча, кусая светлый ус, прошел на мостик к вахтенному.

По палубе бродили ученые, члены великой экспедиции. Всех их грызла коварная, полная неожиданностей неизвестность дрейфа, но никто не рискнул остановить капитана обычным вопросом: «Ну, что нового, Владимир Иванович?»

Он открыл дверь в рубку. Вахтенный штурман, наморщив лоб, записывает свои наблюдения в судовой журнал, готовясь сдавать вахту.

— Ну-те-ко, Михаил Гаврилович, прошу сюда, — позвал капитан. — Обратите внимание...

Оба перегнулись через перила борта.

— Вы ничего не замечаете? — спросил капитан.

— Позвольте, мне кажется, что лед под бортом колеблется и скрипит...

— Совершенно верно, лед скрипит. Какой силы ветер?

— Зюйд-ост, пять баллов.

— Хорошо. Если ветер усилится до восьми баллов, нашу льдину сломает, и тогда...

— Тогда прикажете готовить машину... О, если бы было так? Ведь завтра, Владимир Иванович, праздник.

— Да, это было бы удачно. Во всяком случае прикажите машине быть наготове. Кто знает...

Через полчаса вахтенный отметил, что ветер еще немного усилился. Лед скрипел, колебания его стали еще заметнее. Но громадная льдина, в которую вмерз «Челюскин», крошилась только по краям, чуть-чуть сдавая под натиском шторма. Усиливался ветер, усиливался и дрейф...

● ● ●

На север! Все дальше и дальше уплывали назад столь желанные берега. Все дальше и дальше оставалась за кормой чистая вода Берингова моря. Льдину со скоростью одной и три четверти мили в час тащило на северо-восток, к далекому американскому мысу Хол...

Владимир Иванович собирался перед праздником принять ванну. Что бы там ни было, а сегодня в кают-компании коллектив экспедиции и судна проводит традиционный торжественный ве-

чер. Шестнадцать лет живет и крепнет Страна советов, давшая ему, прямому потомку архангельских поморов, великое счастье водить знаменитые полярные корабли — стать советским Вистингом.[13]

«Челюскин» выстроен в Дании, на копенгагенской верфи «Бурмистер и Вайн». Отделан блестяще. В каюте капитана полированный дуб, инкрустации, мрамор, бархат. Но капитан недоволен каютой. Недоволен и кораблем. Роскошь отделки не скрывает от него слабых сторон судна. Ему нужны могучие крепления корпуса — стрингера и шпангоуты, могучий ледокольный пояс, о который бы крошились и разбивались льды.

Стальные ребра корабля дрогнули при первых же встречах со льдами еще в Карском море. Корабль, стиснутый ледяными объятиями Арктики, несется в неизвестность с погнутым стрингером и вмятиной в носовой части борта.

Капитан сердит на корабль, он скучает по «Сибирякове»...

И все-таки он привел и этот корабль к цели. «Вега» шведского профессора Норденшельда, в 1878 году предпринявшего поход северо-восточным путем из Атлантического океана в Тихий, была зажата льдами у Колючинской губы, в ста тридцати милях от цели, и здесь зимовала. Советский корабль «Сибиряков» победно прошел

этот тяжелый ледовый путь за одно лето. Капитан Воронин также за одно лето провел этим же путем и «Челюскина» — ведь он побывал даже в проливе Беринга. Это борьба — суровая борьба со стихией. И она еще не кончилась...

Капитан любит на этом корабле чуть не больше всего маленький советский самолет. Успех похода, по его мнению, в значительной степени обусловлен именно этой машиной, способной взлетать на воздух с воды и с ледяного поля.

Всякий раз, когда нос корабля упирается в неодолимую толщу льда, капитан просит летчика поискать место, удобное для взлета.

Летчик экспедиции давно летает над ледяными просторами. Все прошлые зимы он помогал зверобоям Белого моря, разыскивая лежбища черных стад моржей и тюленей. Тем летом, когда погиб в Арктике итальянский дирижабль, летавший на полюс, он, улетая от ледокола в неизвестность торосов, пропадал целыми днями в поисках погибавших людей. Теперь этот же летчик помогает полярному капитану вести его корабль, разыскивая трещины и полыньи, по которым можно было бы продвигаться вперед. Бабушкин — фамилия летчика.

В первой половине октября, ловко пробираясь разводьями, «Челюскин» был уже у мыса Ванкарем. Этот голый кремнистый мыс с маленьким до-

миком фактории и семью ярангами охотников-чукчей был хорошо виден с марсовой бочки.

Выйдя в полынью, капитан распорядился спустить самолет, летчик поднял его высоко в воздух.

Вокруг лежали огромные ледяные поля. Но милях в пятнадцати впереди открывалась чистая от льдов вода, щеголявшая белыми гребешками волн. Свесившись через борт самолета, капитан пристально и долго всматривался в ледяные поля, отделяющие пароход от воды. Потом хлопнул летчика по плечу и знаком показал — довольно, садись! Он нашел трещины, по которым надо было скорее пробираться вперед — льды изменчивы, нельзя терять буквально ни одной минуты. Новый ветер может по-иному поставить льдины.

Не напрасно тревожился капитан. Едва лязгающая лебедка подняла самолет на борт и заработала машина корабля, как изменившийся ветер спутал льды как карты. Они снова сжали корабль и потащили прямо к черной скале острова Колючина...

Льды прижали корабль к береговому припаю, ночной мороз накрепко впаял корабль в этот лед.

Это был настоящий плен. Люди видели, как мимо левого борта с большой скоростью двигались льды к Берингову проливу. Но попасть в этот благоприятный дрейф можно было только

разбив мощное ледяное поле, приковавшее пароход к острову.

Десять дней продолжалась битва людей со стихией. Подрывник Вася Гордеев истратил немало аммонала, дробя в грохоте взрывов лед вокруг парохода. Пешнями, кирками скалывали люди лед, снова намерзавший у бортов.

И люди победили. «Челюскин» вырвался из колючинского плена и разводьями пошел дальше, мимо Колючинской губы, к мысу Сердце-Камень, к проливу Беринга.

Капитан вел корабль осторожно. Слабый его корпус, с погнутым ребром, стонал под напором льдов. Когда разводья смыкались, умолкала машина, корабль становился игрушкой стихии.

Чукчи в бинокли и подзорные трубы наблюдали, как петлит корабль вместе со льдами при каждой перемене ветра.

В те дни наиболее смелые чукчи с упряжками собак спускались на плавающие льдины и, добравшись до корабля, поднимались на борт — попить чаю.

«Челюскин» вскоре снова вмерз в огромную льдину.

Усилившиеся морозы делали ее все более толстой. Вместе с этой льдиной под благоприятными северо-западными ветрами «Челюскин» и дошел до пролива Беринга.

• • •

Самолету, что прилетел из-за дежневской горы, из Уэлена, и сбросившему приветственный вымпел, радовались как вестнику победы, вестнику конца великого похода. Ведь до чистой воды Берингова моря было всего три мили.

Лишь капитан и штурмана, как и все старые моряки, воспитанные изменчивым арктическим морем, молчали, глубоко запрятав радость. И они, конечно, допускали, что сильный устойчивый ветер с норда вытолкнет льдину из пролива в Берингово море... Они хотели этого...

Но ветер изменился. Грозное дыхание японских тайфунов долетело до суровой Арктики. «Челюскин» почувствовал удар с юга.

— Дрейф нервничает, — доложил капитану вахтенный штурман. — Зюйд-вест крепчает...

И вот на торжественный праздничный вечер капитан идет с тревогой в душе.

На корабле сто четыре человека. Среди них десять женщин, двое маленьких детей. Одна из девочек совсем крохотная — родилась на корабле в Карском море. Поэтому и имя ей дали Карина. Родители ее, как и ряд других жителей корабля, ехали на остров Врангеля, чтобы сменить зимовщиков, живущих там уже пятый год. Но тяжелые льды не позволили кораблю приблизиться к острову.

— Неужели придется зимовать? — вздыхает капитан. — А вдруг зимовка? Никогда еще, за все века, Арктика не держала у себя в плену так много людей...

На спардеке капитана встретил радист. Это — Кренкель. Его тоже знает страна. Скуластый, большеголовый человек чувствует себя в Чукотском море как дома. Все годы самостоятельной жизни он провел в зимовках на советских полярных станциях. Это он перебросил радиоволны из Арктики в Антарктику[14] и связался с экспедицией американца Берда, много лет под ряд изучавшего земли и моря, лежащие у Южного полюса. Это он был радистом на дирижабле «Граф Цеппелин», когда тот летал в Арктику.

Неуклюже переставляя ноги, он подходит к капитану и, добродушно шепелявя, докладывает, что с материка сообщают начальнику экспедиции Отто Шмидту о передаче в его распоряжение дальневосточного ледореза «Литке» и что «Литке» готов выйти на помощь «Челюскину».

— Но «Литке» просит учесть, — говорит радист, — что его корпус тоже покарябан льдами и что у него мало угля...

Капитан и радист находят Шмидта в кают-компании. Сутулясь и улыбаясь, спокойными как снега Чукотки глазами Шмидт читает радиограмму и весело говорит:

— Ну, вот, Владимир Иванович, как видите, нас не забывают. Пусть «Литке» попробует пройти. Не сумеет пробиться и вывести пароход, так, по крайней мере, подойдет настолько, что мы сможем передать ему людей послабее. Ну, конечно, женщин, ребят... Ведь вас они особенно беспокоят? Правда ведь, беспокоят, а? Ох, эти моряки, вот уж женоненавистники...

Владимир Иванович соглашается, но все еще где-то глубоко в его сознании теплится надежда, что разыграется шторм и сломает проклятую льдину. Тогда он самостоятельно выйдет из Берингова пролива.

• • •

Прошло несколько дней. Желанный шторм так и не разыгрался. Льдину попрежнему тащило на север.

«Литке» где-то в проливе грыз ледяные поля, прорываясь к «Челюскину». Но прорывался он осторожно, с оглядкой на свои бока, помятые в осенних боях со льдами. «Челюскин» был еще далеко, а льды становились все крепче и коварнее. Их мощные объятия сковывали подчас и самого «Литке».

Снова в бархатной кают-компании «Челюскина» собрались коммунисты корабля. Присутствуют и все его жители, кроме вахтенных. Тихо. Раз-

говоры короткие, отрывистые. Говорит Шмидт:

— Положение, товарищи, очень серьезное. Дело в том, что «Литке» получил новые ранения, в течь хлещет вода — едва успевают откачивать помпами. Кроме того у него кончается уголь... Как видите, Арктика ополчилась на нас. Вместо одного парохода могут застрять во льдах два. Это усложнит положение еще больше. А «Литке», вы знаете, необходим на Дальнем Востоке. Мы, коммунисты «Челюскина», думаем, что нам следует отпустить «Литке». Пусть только «Челюскин» останется здесь. Мы всем обеспечены. Не надо тревоги. Далеко не все еще потеряно. Возможно, что и сами вырвемся. Давайте-ка обсудим все это... Ну, что скажете?

Никто не прерывает молчания. Слышно, как шелестит бумага в руках Вани Копусова — хозяйственника экспедиции. Бывший матрос и электромонтер Ваня Копусов — помощник Шмидта. Он по привычке кусает губы и вдруг, резко подняв голову, решительно бросает: «Отпустить!»

— Да, отпустить, — соглашается Воронин.

— Отпустить, — слышен женский голос. Говорит Прасковья Лобза, гидрохимик экспедиции.

— Отпустить, само собой, — басит судовой плотник Адам Шуша.

— Да-да — отпустить... — раздается уже много голосов.

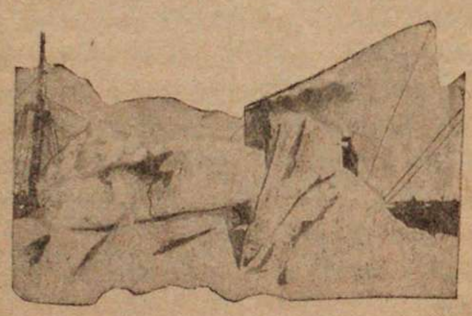
Вопрос решен. «Литке» отпустили назад, в Провидение, во Владивосток.

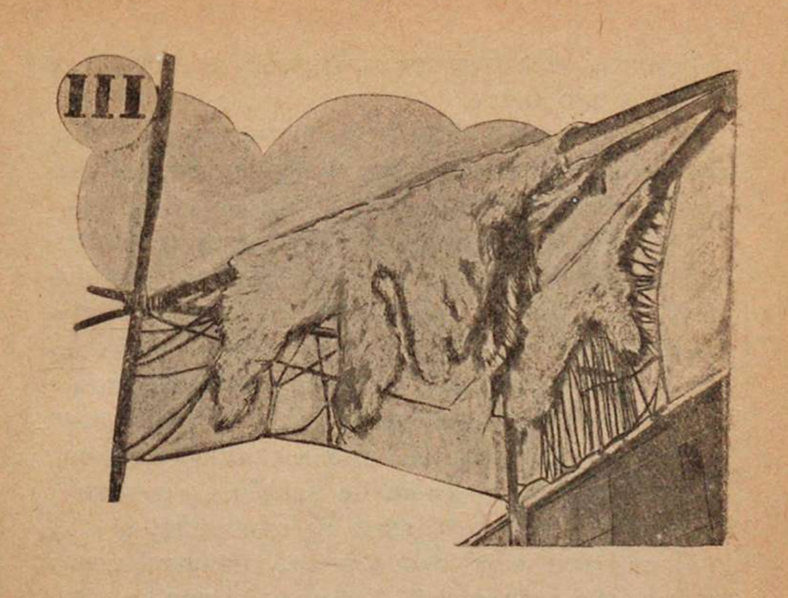
Челюскинцы остались одни в Полярном море.

В эту ночь вахтенный штурман отметил, что дрейф изменил направление — льдину потащило на запад.

Начальник позвал к себе в каюту Ваню Копусова. Кроме них там не было никого.

— Иван Александрович, — сказал Шмидт, — вопрос ясен, — мы зимуем. Я прошу вас отобрать коммунистов, выдержанных товарищей, и начать постепенно готовить аварийный запас — продовольствие, одежду, палатки, нарты. Арктика шутить не любит. Мы близки к тем местам, где льды раздавили «Жанетту» и «Карлук». Надо быть наготове. Но действуйте только спокойно, выдержанно. Проводите обычную будничную работу. И, пожалуйста, все устраивайте поближе... Понятно?





ОДНАЖДЫ УТРОМ на снегу вокруг корабля обнаружили медвежьи следы. Медведь, повидимому, несколько раз обошел корабль.

Биологи Стаханов и Белопольский стали героями дня. Они зарисовали медвежий след в дневники и так живо описывали всем медведя, как-будто имели с ним теснейшее знакомство. Но все же они не были вполне единодушны — один

утверждал, что это самка, другой настаивал на том, что это самец.

Поземка замела следы, прекратив на время споры биологов, но в одну из следующих ночей следы появились снова.

Биологи оживились опять и всем любопытствующим охотно и очень обстоятельно доказывали, что медведь голодный и поэтому так близко подходит к кораблю. На этот раз медведь даже повалялся в снегу и оставил кое-какие иные следы своего пребывания.

Страсти разгорелись, зашевелились охотники. Самые рьяные из них целые ночи просиживали в засаде. Но медведь больше не появлялся.

Постепенно охотники остыли, и только повар тешил себя надеждой, что мишка придет. Как охотник, он был ленив, но изобретателен. Он подвесил за борт на проволоке кусок мяса и протянул конец проволоки к себе в каюту, а там к ней подвязал звонок. Расчет прост и остроумен: тронет медведь мясо, — сам предупредит охотника.

Ночь прошла спокойно. Утром повар спустился за борт и ахнул — от мяса болтались только лохмотья со следами мишкиных клыков. Вокруг корабля новые следы. Осторожность и ловкость этого медведя поразили даже биологов, дав новую пищу их теоретическим построениям.

Снова наступила ночь. Корабль заснул глубоким сном.

Даже вахтенные, закончив промеры и наблюдения, ушли в рубку и дремлют там. Не спится только штурману. Он вышел покурить на свежем воздухе и помечтать.

Вокруг мертвая тишина. Только изредка позванивает и сухо потрескивает лед.

Полнозвездно ясное небо. Высоко висит половинка луны где-то над Чукоткой. Глубокой синью окрашено безмолвие ледяной пустыни.

Штурман замечтался, прислонившись к мачте. Проносились образы близких, друзей... вспоминались яркие картины из жизни там, далеко... Вот всплыла сцена прощания с семьей... жена...

Что такое? Хрустит снег за бортом. Штурман бросает папироску и подбегает к фальшборту.[15] И он видит, как за бортом взад и вперед, словно лунатик, ходит, заложив за спину руки, человек.

Штурман всматривается — ба, да это Федя Решетников, а на ногах у него мохнатые обутки. Так вот оно что, вот откуда медвежий след! Утром смеялись все на корабле. Доставалось охотникам, а больше всего биологам.

• • •

«Челюскин» встретил зимовку спокойно и организованно. Корабль живет полной жизнью.

Безделье — страшный враг полярных зимовщиков, но ему нет места на «Челюскине». Тщательно продуман Шмидтом план каждого дня.

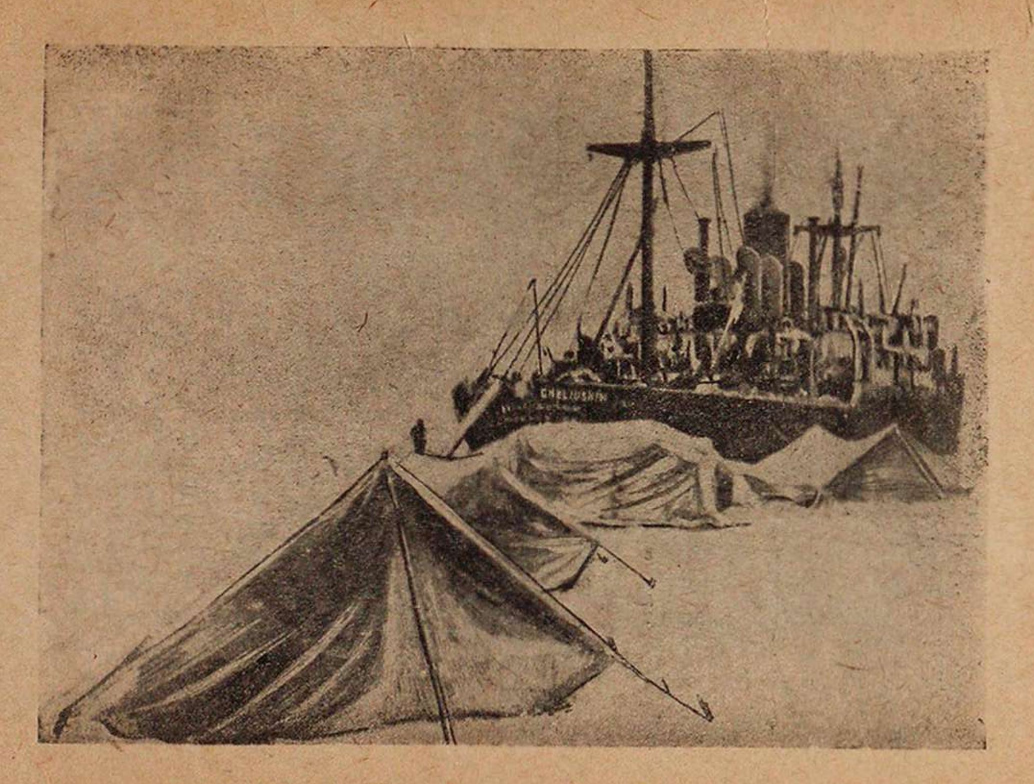
Ваня Копусов со своей группой с раннего утра возится с аварийным запасом, проверяя и пополняя его. Матросы несут общую морскую вахту. Ученые жадно используют каждый час для наблюдений в этой исключительно интересной для них обстановке полярной зимовки.

Капитан лелеет мечту о самостоятельном выходе из льдов. Он ждет лета и экономит топливо. Ему в этом активно помогают механики, без конца изобретающие и вариирующие разные способы наиболее экономного расходования топлива на тепло и свет для корабля. Живут все коллективно в специально оборудованном зимовочном помещении — это тоже один из способов экономии топлива.

Шумно на корабле в часы отдыха. Пытался кое-кто уходить в эти часы на охоту в торосы, но там пусто и безжизненно. Да и опасно далеко уходить от корабля. На палубе вокруг Феди Решетникова группируются песенники и плясуны. Сашко Погосов лихо откалывает «шамиля».

— Чем меня резать будешь?
Чем меня резать будешь?
— Чинжалом резать буду...
Чинжалом резать буду...

подзадоривает его Федя.



Лед наступает. Выгружен аварийный запас.

Потом начинаются свои — челюскинские — песни. На незатейливый мотив из какой-то, одному Феде ведомой, оперетты хор гремит:

Тринадцать медвежат
Пошли купаться в море,
И там они играли,
Резвились на просторе.
Один из них утоп,
Купили ему гроб.
И вот вам результат —
Двенадцать медвежат...

...Долго рассказывает хор о злоключениях невинных «медвежат». Наконец, «утоп» и последний — снова юлой вертится Федя, организуя танцы.

Того же Федю Решетникова можно видеть и в кают-компании среди стенгазетчиков. Илья Баевский — редактор стенгазеты — увлекается большими площадями. Газета на «Челюскине» безудержно разрастается вширь. Первый номер выпустили шириною в метр, а теперь шестиметровая полоса опоясывает почти всю кают-компанию. Иллюстрирует газету Федя Решетников. Раз в месяц он покрывает незанятую газетой площадь стены остроумнейшими карикатурами «ледового крокодила».

Многие удивляются наблюдая Федю. Как только успевает он быть везде первым? Этот талантливый и глубоко воспринимающий своеобразие арктической природы молодой художник — ак-

тивнейший общественник экспедиции. Трудно представить себе, что этот замечательный весельчак, обладающий изумительной способностью вызывать бодрый и беззаботный смех везде, где бы он ни появлялся, перенес мрачное и невеселое детство беспризорника. Федя Решетников одинаково весел и на палубе среди хора и танцоров, и в угольных бункерах во время аврала, и в те тяжелые часы, когда все население корабля бьется с наступающей Арктикой, окалывая лед с бортов корабля.

Массу изобретательности проявляют культурники. Частенько устраиваются вечера лубка. Федя рисует на негативных стеклах целые комедии, драмы и хронику, а Аркаша Шафран проектирует все это самодельным фонарем. Музыкальным оформлением ведает Громов, журналист.

Как в настоящем кино, «картины» сопровождаются музыкой — патефон в умелых руках Громова проявляет чудеса неутомимости. Как в настоящем кино, публика «переживает»: стук и крики «пора» подгоняют начало «сеанса», оглушительные взрывы смеха награждают художника, — «сапожник — рамку» — кричат Аркаше...

● ● ●

Корабль вместе с ледяным полем, сковавшим его, носился по воле ветров. Ежедневно устана-

вливались новые координаты. Иногда льдина за сутки проходила двенадцать—пятнадцать миль.

Страна пристально следила за «Челюскиным». С материковой станции в Уэлене летели тревожные запросы, передавались сводки тассовских новостей. Временами в радиорубку приходил Шмидт, и тогда «Челюскин» отвечал короткими спокойными сообщениями о ходе зимовки.

Отвечали челюскинцы и родным:

— Не так страшно здесь, как вам кажется в Ленинграде.

— Не беспокойся, отец, я доволен научной работой зпт зимовка очень плодотворна тчк...

Корабль между тем уже испытал одно серьезное сжатие льдов.

Это случилось в январскую ночь. Ночную тишину внезапно взорвал сухой, как выстрелы, треск — где-то ломало лед. Тотчас же на корабле ощутили сильный толчок — резко дернуло назад. Все выбежали на палубу. Капитан и Шмидт уже были здесь. Все на миг застыли.

Луна озаряла необычайное зрелище...

Невдалеке от корабля лед громоздился в чудовищный вал. Толкаемый какой-то гигантской силой, он с оглушительным грохотом приближался к «Челюскину»...

С мостика, где стояли Воронин и Шмидт, прозвучала команда:

— По местам!

И через несколько секунд каждый уже был на месте, указанном для него аварийным расписанием. Застонали крепления корпуса под напором ломающегося льда, но вряд ли кто-либо из челюскинцев слышал это — уже кипел аврал по выгрузке аварийного запаса на лед с противоположной сжатию стороны.

Движение льда прекратилось так же внезапно, как и началось.

Все стихло вокруг корабля. Луна озаряла недвижные торосы ледяного поля... Но на льду был уже двухмесячный запас всего необходимого для жизни сотни человек, если бы Арктика лишила их корабля.

Шмидт был доволен. Тревога показала готовность челюскинцев ко всему.

Тревожной была эта ночь. Ожидали повторного, более сильного сжатия...

Забрезжил рассвет, занялся новый день... Сжатие не повторилось. Тихо было в Чукотском море...

• • •

Метрах в двухстах справа от корабля среди торосов стоит наглухо закрытая палатка. Здесь работают инженер-физик Ибраим Факидов и геодезист Васильев — отец маленькой Карины.

Они целыми днями, лежа на подостланной овчине, наблюдают за прибором, отмечающим все колебания льда. Подобные наблюдения в Арктике производятся впервые.

Ибраим один из тех, кого зимовка радует. Она предоставила ему прекрасные возможности сделать ценный вклад в науку — изучить все еще загадочные и коварные льды Чукотского моря. Все моря Арктики освоили и завоевали советские корабли, но это море еще не сдается.

День за днем Факидов записывал показания прибора и установил, что льды здесь беспрестанно дрожат и колеблются. Прибор улавливает отголоски отдаленных сжатий и торошений. В этой палатке Факидов и Васильев наблюдают грозные признаки наступления льдов на «Челюскин».

Частенько пробирался сюда через торосы и капитан. Молча ложился он на кошму рядом с ученым, устремив взор на шевелящийся в приборе ртутный шарик...

Пришел сюда капитан и сегодня — 13 февраля.

В этот день Факидов забрался в свою палатку совсем рано. Он провел тревожную ночь. Не спалось. Вчерашние наблюдения предвещали недоброе. Ртутный шарик в приборе лихорадочно трепетал и метался.

Вечером Факидов предупредил Воронина и Шмидта, что его наблюдения позволяют гово-

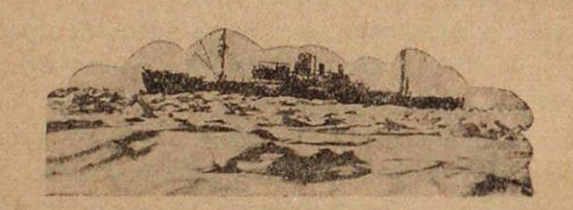
рить о приближении мощного ледяного вала, способного поломать чорт знает какой лед...

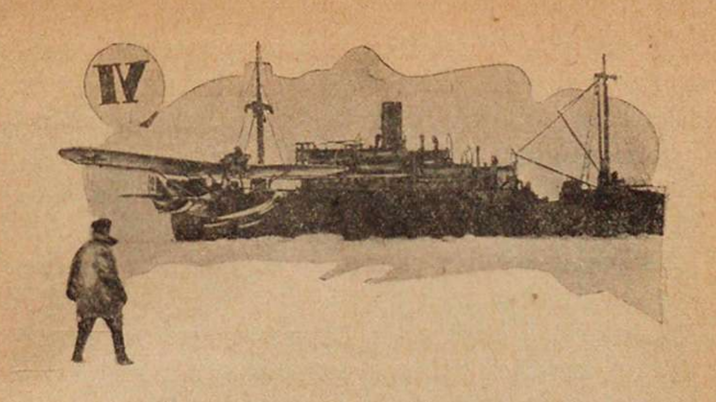
Капитан привстал на колени. Задумчиво погладил усы.

Факидов нарушил молчание:

— Владимир Иванович! Размах колебаний, как видите сами, растет. Это сжатие нас не обойдет стороной...

— Ну, что ж, Ибраим Гафурович, я иду на корабль, — и, откинув полог, капитан вышел.





ПРОБИЛО двенадцать часов дня. На вахту поднялся штурман Михаил Гаврилович Марков. Вахта началась обыденно. Последняя запись в судовом журнале гласила: «Состояние льда спокойное, дрейф — 0,3 мили на ост-зюйд-ост. Глубина места 50 метров». Новые промеры показали то же самое.

Михаил Гаврилович поднялся на мостик. Вокруг, насколько охватывал глаз, мощные торосы. Ни одной полыньи, ни одного разводья.

Ветер с севера гнал поземку — начиналась мятель.

На палубе пусто. Штурман, взглянув на термометр — тридцать шесть градусов ниже нуля по Цельсию, — решил зайти в рубку. Здесь бодрствовал Витя Синцов, вахтенный матрос, — голубые, мечтательные глаза, легкий светлый пушок над губой.

Штурман присел рядом и углубился в чтение «Тихого Дона»...

Внезапно и штурман и Витя почувствовали, как приподнялся и дрогнул корабль. «Тихий Дон» выпал из рук вскочившего штурмана. Витя выбежал на палубу.

Штурман взглянул на часы — скоро час пополудни — и тоже вышел из рубки.

Лот показал, что дрейф ослабел до 0,1 мили в час. В майне,[16] где меряли глубину, штурман заметил плавные колебания воды.

Люди высыпали на палубу, на ходу одеваясь в теплое. Многие спрыгнули за борт, чтобы поглядеть в майну или сбегать в палатку Факидова.

И вот все замерли — послышался знакомый, пока еще далекий гул торосившегося льда. Дрейф корабля прекратился. Михаил Гаврилович сделал об этом запись в судовом журнале.

В один час двадцать минут пополудни «Челюскин» получил сильный толчок в нос. По всему кораблю затрезвонил авральный звонок...

Капитан стоял на мостике, всматриваясь через



Н. П. КАМАНИН

бинокль в ледяной вал, проглядывавший сквозь снежную пелену поземки. Звеня и скрипя, вздымались и рушились громадные льдины. Под ними громоздились новые глыбы.

С мостика было видно, как колебалась и поднималась вода в майне все выше и выше, выплескиваясь на лед. Корпус корабля задрожал. Капитан круто повернулся к штурману:

— Немедленно выгружать продовольствие на лед...

— Правильно, Владимир Иванович, — подтвердил подошедший Шмидт. Колючий северный ветер трепал и осыпал снегом его шелковистую бороду.

— Итак, Владимир Иванович, кажется, нам с вами не выйти уже самостоятельно из льдов...

— Да, Отто Юльевич, давайте-ка пройдем поближе к корме у правого борта — оттуда виден и форштевень и все аварийные работы...

При выходе с палубы Воронина и Шмидта встретили запыхавшиеся механики. Их печальные лица говорили о случившемся несчастье.

— У нас нет больше машины, — доложил стармех. — От удара в корпус фундамент перекосился, машина остановилась. Свет погас... Вода заливает машинное отделение...

— Можно ли что-нибудь сделать?

— Нет, Отто Юльевич, ничего...

— Как вы думаете, Владимир Иванович, сколько времени будет тонуть «Челюскин»?

— Возможно, больше часа, в зависимости от напора льдов...

— Тогда — все силы на выгрузку продуктов и снаряжения. Ничего не забыть из приготовленного. Прикажите, Владимир Иванович, особо выгрузить горючее — нефть, бензин, керосин, уголь. Следует освободить все деревянное от найтовых,[17] — это всплывет... Ну-с, товарищи, по местам! Я сейчас же буду с вами, Владимир Иванович, только вот зайду к Кренкелю...

● ● ●

На жилых палубах, в каютах, коридорах пусто. Все на кормовой палубе и на льдине. Ящики с продуктами, мешки с меховой одеждой, палатки, боченки с маслом и множество всяких других предметов и вещей быстро перебрасываются с корабля на лед...

Кренкель не покидает передатчика ни на минуту. Там, на берегу, ждет нового вызова с «Челюскина» Люда Шрадер. Пять минут назад Кренкель предупредил ее:

— Следите за нами. Не отходите от приемника, не меняйте настройки. Идет сжатие. Следите внимательно.

Кренкель слышит пулеметную дробь — это вы-

скакивают из своих гнезд заклепки в корпусе судна.

Слышится команда и топот ног. Кренкель чувствует, как пароход начинает крениться, как опускается его нос...

Не снимая наушников, Кренкель распахивает дверь рубки и кричит пробегающим:

— Ну, что там еще стряслось?

Те на ходу отвечают:

— Большая пробоина по левому борту. Почти совсем оторвало обшивку... Вода заливает...

В рубку вбегает Иванюк — второй радист — и вежливо шепчет:

— Эрнест, Эрнест, я принес вам шапку, рукавицы и ватник. Пора одеваться. Сейчас придется и вам сойти на лед.

— Ерунда, до меня еще очередь не дошла, — шепелявит Кренкель. — Начальник должен ведь еще дать радиограмму об аварии. Иди, а вещи оставь тут.

Шмидт входит в рубку.

— Связь с берегом готова? — спрашивает он.

— Да, Уэлен ждет, — отвечает Кренкель.

— Эх, Эрнест Теодорович, — вздыхает Шмидт, присаживаясь к столу радиста. — Надеюсь, вы не давали никакого «СОС»?..

Кренкель, хмуро насупившись, отвечает:

— Конечно, нет... Кому же тут давать «СОС»?..

Я просто вызвал Уэлен и сказал, чтобы следили за нами.

— Ну вот и отлично, а теперь передайте вот это сообщение в Москву и кончайте работу. Палуба уже уходит под лед.

Пока Кренкель передает радиограмму Шмидта и выстукивает:

> *По приказу Шмидта сейчас оставляем судно. Сходим на лед. Успели спустить самолет и две шлюпки. Вынесли передатчик. До следующей связи ничего не принимайте...*

за его спиной уже орудует аварийная радиобригада. Писатель, фотограф, кочегар, биолог и гидрохимик бережно выносят на лед аккумуляторы, аппарат, запасные части и складные радиомачты...

...Люда Шрадер в Уэлене, глотая слезы, расшифровывает точки-тире Кренкеля, тщательно переписывает сообщения своим ровным почерком и, меняя настройку, передает через Петропавловск на Камчатке в Хабаровск, в Москву...

● ● ●

На скользкой палубе выгрузка шла к концу. Метались только, визжа и хрюкая, три громадных свиньи. Добряк «дядя Миша» — плотник Бере-

зин — никак не может решиться выполнить порученное ему аварийным расписанием дело — заколоть свиней. На помощь пришли кочегары.

Кормовая палуба опустела. Аварийный запас уже на льдине.

Капитан позволил вахтенному покинуть пост и захватить личные вещи.

Неравномерно, толчками, корабль медленно уходит под лед, все выше громоздящийся на его носовую часть...

Корму задирает вверх. Там, высоко, стоят двое — Воронин и Шмидт.

Капитан взял начальника за руку:

— Отто Юльевич, я даю распоряжение — все на лед, оставить судно... Смотрите — носовая палуба под водой. Корабль стал погружаться быстро. Дальше на корабле оставаться опасно. Прошу и вас сойти передо мной...

— Да-да, я готов...

Прозвучала последняя команда.

Один за другим сходят по сильно накренившемуся и скрипящему трапу последние бойцы «Челюскина».

Вот медленно сошел, склонив голову, и Шмидт. За ним, сорвав красный кормовой флаг, спрыгнул вахтенный штурман.

Очередь за капитаном...

Корма внезапно резко подпрыгивает вверх, ка-

питан сброшен на лед, вслед за ним летит и падает рядом огромное бревно...

...«Челюскин» быстро с грохотом и треском погружается, все выше поднимая корму. Лед срезает мачты и палубные надстройки...

На льду ахнули. Раздались крики:

— Могилевич на борту...

Высоко вверху, на вздыбленной корме, человек...

Ему кричат:

— Боря, прыгай! Прыгай, чорт побери!..

Он прыгает. Но не на лед, а на палубу и тотчас же исчезает под бревнами и бочками, катящимися по крутому уклону...

Кто-то с рыданием метнулся к борту, но его схватили крепкие руки Шмидта.

— Назад, назад!.. Дальше от корабля! — резко и властно скомандовал он.

• • •

Перекличка закончилась. Только сейчас люди почувствовали, как крепок мороз. Мокрые и продрогшие они пошли к единственному жилью — палатке Факидова. Сам Факидов, идя между Шмидтом и прихрамывавшим капитаном, горячо советовал:

— Искать место под лагерь не надо. Можно смело строить палатки здесь, вокруг моей. Вы

знаете, Отто Юльевич, это замечательная льдина. Смотрите, какое сжатие выдержала. Она ведь толстая, — шесть-семь метров. Здесь можно великолепно располагаться...

Факидовский дифирамб льдине вызвал даже улыбку у Шмидта.

— Пожалуй, вы правы, Факидов. Михаил Гаврилович, — обратился он к штурману, — укрепите над палаткой Ибраима флаг с «Челюскина». Будем здесь строить наш лагерь.

Немного стих ветер.

В темноте одна за другой выросли первые палатки — низкие, неуклюжие. Роздали спальные мешки и длинные широкие малицы.[18] Шмидт, напомнив, что «утро вечера мудренее», велел располагаться спать. Но сам он проработал всю ночь с радиобригадой, устанавливая аварийный передатчик.

Да и вряд ли кто-нибудь спал в эту первую ночь на льдине. Дело не только в переживаниях — трудно заснуть двадцати человекам в шестиметровой палатке. То-и-дело слышалось:

— А ну, Вань, — подтянись немного...

— Ребята, дайте же отдохнуть и моим ногам.

— Саша, убери локоть...

С рассветом начались работы по оборудованию лагеря.

Белокурый гигант — старший матрос Гриша

Дурасов — устроил первый камбуз-треногу, к которой подвесили общий котел. Сварили суп.

Умывшись снегом, потянулись к котлу с эмалированными кружками в руках. С кружкой же пришел за супом и Отто Юльевич. Он был как всегда бодр и подвижен, но все заметили, что его высокая фигура еще больше сутулилась.

В палатку Шмидта заглянули Ваня Копусов и Володя Задоров — молодой машинист, секретарь ячейки «Челюскина». Шмидт, крепко пожав им руки, попросил тотчас же собрать открытое собрание коммунистов. На повестке дня — организация лагерной жизни.

— Отто Юльевич, наш радиопередатчик готов, — доложил Кренкель.

— Отлично, тогда передайте вот это.

Радист взял листок и ушел в радиопалатку. Настроившись, он вызвал Уэлен.

— Слушай, Люда! Принимай:

МОСКВА.

КРЕМЛЬ.

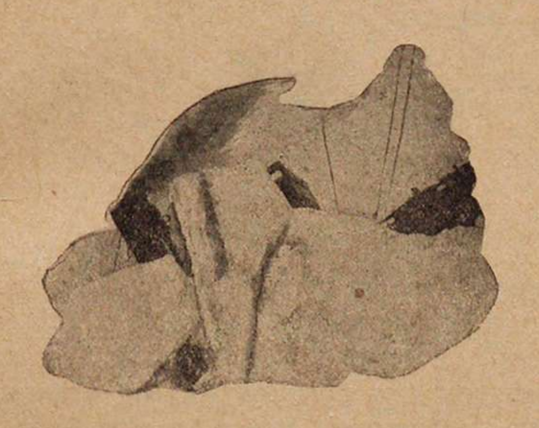
СОВНАРКОМ.

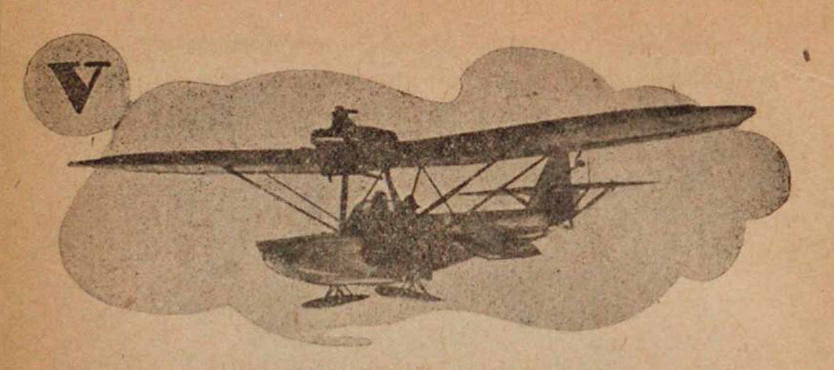
Полярное море. Лагерь Шмидта. 13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от Уэлена „Челюскин"



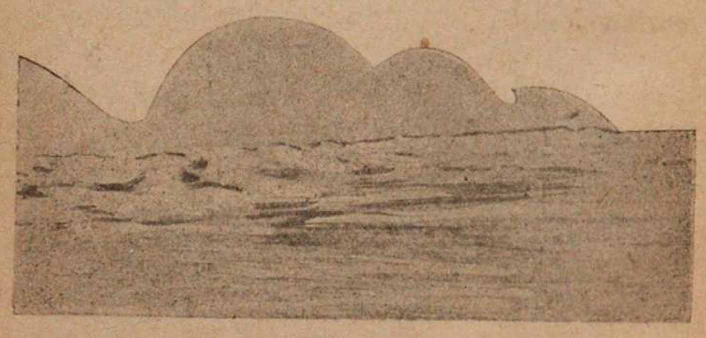
Тэнмау — сын Гемауге, — сам сделавший точную двухмоторную модель самолета Ляпидевского, на руках Жорки Валавина — бортмеханика Бабушкина. Справа бортмеханик Водопьянова Володя Александров.

затонул, раздавленный сжатием льдов. Не теряем бодрости. Все здоровы, полны энергии.





В СТА ТРИДЦАТИ километрах от берега среди торосов реет советский флаг. Неподалеку палатка начальника, над ней голубой клинообразный штандарт ГУСМП. Рядом — мачты радиостанции. Одна к другой жмутся «капитальные палатки», утепленные снежными сугробами. Чуть в стороне между двух шлюпок-ледянок палатка капитана и штурмана. Продовольствие сложено правильным квадратом. Невдалеке деревянный ба-



рак, обложенный брусками слежавшегося снега. Тут же «настоящий камбуз»[19] — гордость его строителей. Так выглядит лагерь Шмидта на льдине, дрейфующей в Чукотском море.

Жизнь наладилась.

Люди начинают привыкать к условиям полярного плена. Спят уже спокойно, и только вахтенный с винтовкой на плече бродит по тихому ночному лагерю.

Факидов не прервал своих наблюдений над льдами. Метеорологи, как и раньше, запускают своих метеорологических змеев. Гидрограф и картограф попрежнему определяют точное местонахождение льдины, всякий раз удивляя своих сожителей — льдина носится в ледовитом море с той же угрожающей скоростью, делая иногда в сутки по четырнадцать—пятнадцать миль.

Через стенгазету «Не сдадимся» ученые предложили всем обитателям лагеря выжигать или вырезать на фанере, столах, бревнах: «Челюскин», дату и координаты: 67,17 с. ш., 172,54 з. д.

— Интересно знать, — говорили они, — куда унесет течение остатки лагеря, когда люди из него будут спасены.

Кренкель передает через Уэлен и Северный мыс короткие сообщения Шмидта, а изредка весточки далеким родным и друзьям пленников Арктики. Мало передает Кренкель. Он бережет аккуму-

ляторы — ведь это единственное средство связи со страной. Зато принимает много. В лагерь Шмидта со всех концов родины несутся бодрящие волны...

По вечерам все собирались в бараке. Часто за узкий стол, сделанный из люковины, садился Шмидт.

Желтоватый свет двух самодельных светильников вырывает из тьмы его шелковистую бороду, углы лица и пляшет искорками в глазах. Задевая головой за висящие под потолком валенки и малицы, Шмидт встает и сообщает новости, принятые Кренкелем. Рассказывает о том, как беспокоится о них Страна советов, как организуется помощь. Он сравнивает положение лагеря с положением буржуазных экспедиций прежних лет, забытых всеми, обреченных на гибель.

— Ничего, — говорит Шмидт, — мы можем подождать. Мы обеспечены всем необходимым. У нас двухмесячный запас продовольствия, у всех полный комплект теплой одежды, все живут в хорошо оборудованных и теплых палатках. Будем терпеливо ждать, продолжать порученную нам ответственную работу. Наша страна мобилизует мощные силы на помощь нам.

— Из Уэлена уже вышли десятки собачьих нарт. Они дойдут до мыса Онман и быть может смогут продвинуться к лагерю. В Уэлене и на Се-

верном есть самолеты и летчики — Ляпидевский, Конкин, Чернявский.

— Площадка, чтобы принять самолеты, у нас готова. Нас легко найти. Но погода изменчива — на берегу сильные морозы и пурга. Ляпидевский вчера сделал попытку полететь к нам, но должен был сразу же спуститься. Он обморозил все лицо и руки.

— Ничего — период холодов и пурги скоро пройдет и настанут тихие ясные дни. Подождем...

— Подождем, — отвечают десятки голосов.

Информационные доклады о подготовке спасательных экспедиций чередовались с регулярными занятиями. Шмидт организовал «университет» и лекции по диалектическому материализму для ученых. Бодрой жизнью жил лагерь под руководством своего начальника. Спокойствие и уверенность в счастливый исход вселял он неустанно в сознание людей, доверенных ему страной.

А льдина все чаще и чаще напоминала об опасностях, подстерегавших живших на ней. Уверенность Факидова в крепости льдины сильно поколебалась после того, как он увидел две широких трещины, появившихся после очередного сжатия. Одна из них отделила лагерь от барака, и через нее пришлось перебросить мостик. Камбуз одним краем повис над пропастью.

Погода упорно неблагоприятствовала. Когда пурга бушевала в Уэлене и на Северном, в лагере стояли солнечные и ясные дни. Люди с лопатами в руках бродили по аэродрому, сбивая последние заструги, пристально всматриваясь в горизонт. Когда же свистела и бесновалась пурга над палатками лагеря, из Уэлена сообщали, что погода там хорошая и самолет готов вылететь...

И сегодня, как обычно, все вечером собрались в бараке.

Доложив о новостях, Шмидт рассказал о том, что несколько плотников дрогнули и собрались было итти пешком к берегу.

Все насторожились...

— Почему бы нам не пойти пешком? В самом деле, вопрос законный, но этого нельзя делать и вот почему. Во-первых, мы — единый коллектив советских граждан, которому партией большевиков и правительством даны очень важные поручения. Коллектив не однороден — у нас есть физически слабые люди, есть женщины и даже дети. Наша важнейшая обязанность — сберечь слабых и позаботиться о них. Мы должны не потерять ни одного человека. Мы должны спокойно дождаться помощи, а она придет обязательно. Не забывайте, что мы страшно далеко и находимся у еще не освоенных берегов. Не легко добраться до нас — нужно не мало времени.

— Полярные исследования стоили жизни многим смельчакам. Наши познания об Арктике куплены очень дорогой ценой. В этих местах разыгралось не мало трагедий. Здесь потерпели крушение несколько буржуазных экспедиций. Они потеряли не только корабли, но и почти всех людей. Мы избежим этого, если, сохраняя спокойствие, выдержку и дисциплину, будем терпеливо ждать помощи...

Расходились шумливой, веселой гурьбой. Чуть сзади шагал Шмидт, задумчиво опустив голову.

Двадцать лет назад возле мыса Бичи на Аляске, сравнительно недалеко от того места, где погиб «Челюскин», льды поймали в ловушку шхуну «Карлук». Двадцать пять человек из ее экипажа, под командой капитана Бартлетта, остались на шхуне, а владелец ее — американский полярный предприниматель и исследователь Стефенсон, решив, что ему не стоит терять времени на зимовку, выехал на собаках по льду на материк. Он надеялся, что льды разойдутся и освободят шхуну из плена.

Но случилось иначе. Шхуна стала дрейфовать на запад с такой скоростью, что через пять месяцев она оказалась всего в десяти милях от острова Врангеля. Корпус шхуны уже был поврежден льдами, и после нового сжатия льдов она пошла ко дну.

Это случилось 11 января 1914 года.

На лед сошли двадцать пять человек, среди них один эскимос с женой и ребенком. Все они вместе с Бартлеттом пошли пешком на Врангель.

Всего десять миль отделяло их от острова, но достигли его только семнадцать человек. Трое ученых, врач, штурман и три матроса умерли в дороге. Десятимильный путь по движущимся льдам занял около месяца. Они проходили в день две-три мили, но в то же время ветер и течение отбрасывали льды, по которым они шли, назад порой на пять-шесть миль. Эти несчастные провели зиму на Врангеле в первобытных условиях, потеряв к весне еще троих.

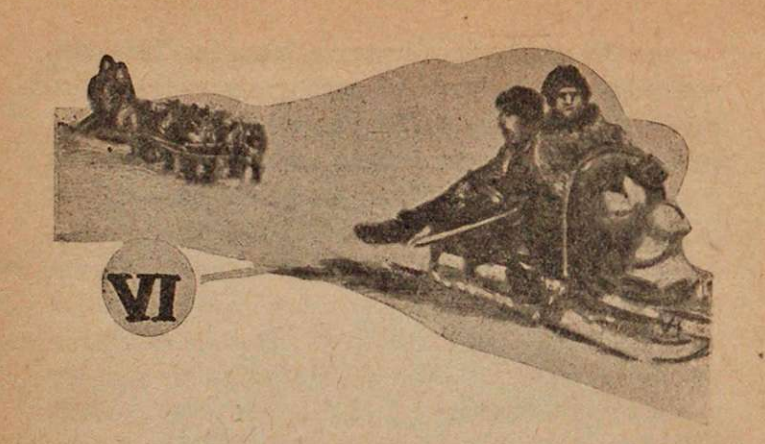
Весной капитан Бартлетт, взяв в спутники самого сильного матроса, проделал рискованное путешествие по льдам. Они добрались до мыса Северного, а потом материком до Берингова пролива и дальше на вельботе чукчей переплыли в Ном. Здесь они рассказали об ужасной судьбе экипажа шкуны «Карлук».

За тридцать пять лет до этой трагедии к западу от Врангеля затерло льдами корабль «Жанетту». На нем была экспедиция капитана Де-Лонга, посланная американцами с целью обследовать северные берега острова Врангеля.

«Жанетта» два года петлеобразно дрейфовала на запад-северо-запад. Летом 1881 года льдины

раздавили ее — люди спаслись на лед. Тридцать два человека с санями и шлюпками направились к устью Лены. Это был беспримерно трагический переход. Де-Лонг и девятнадцать его спутников в дороге умерли. Только двенадцать человек полуживыми достигли земли...





ПО МЯГКОМУ снегу бегут двенадцать собак, запряженных «елочкой».[20] Это Ляпидевский едет снова в фиорд Провидение. Шеломов разыскал для больного летчика лучшую упряжку и Туккая — самого смелого каюра.[21] Помахивая остолом,[22] он подгоняет ленивцев.

— Кхх-кхх... Нара-ра-рать-рать!

Ляпидевский полулежит, упираясь мохнатым малахаем[23] в спину Туккая. Сквозь узкие щелки в

повязке, покрывающей его обмороженное лицо, он видит, как убегают назад следы от полозьев нарты и собачьих лап.

— Видимость ограниченная, — улыбается летчик. Доктор Фауст не пожалел вчера бинтов.

Дорога убегает назад в Уэлен, где лежит, распластавшись в глубоком снегу, самолет со сломанным шасси. Вчера еще эта громадная металлическая птица реяла в воздухе. Она носилась над торосами и разводьями ледяной пустыни в поисках лагеря Шмидта.

Вчера утром радисты сообщили: «И на берегу и на льдине ясная погода!»

Засуетились люди в Уэлене. Лететь, обязательно лететь. К вечеру возможна пурга, надо ловить погоду.

Мороз минус тридцать восемь по Цельсию. Кипяток к двум моторам таскали в бидонах. И вода и моторы остывали удивительно быстро. Мороз с резким северо-восточным ветром — совсем неблагоприятная погода для взлета. Полет сегодня — безумный шаг. Это сознавали все. Даже смельчак Бен Эйльсон — отважный полярный пилот Аляски — никогда не рисковал летать при морозе больше двадцати градусов. А Вистинг и Даль во время зимовки экспедиции Свердрупа из-за морозов не совершили зимой ни одного полета. Только в июле они попытались взлететь над

льдами, но машина, задев лыжей за выступ тороса, тут же свалилась. Все это факты, и все же...

— Нормально, — сказал Ляпидевский, когда после долгих, почти отчаянных усилий (три раза меняли кипяток в радиаторах) моторы взревели. — Я думаю, челюскинцы нас до июля ждать не будут.

Лев Петров, летнаб, залез в «моссельпром», — так в шутку назвали переднюю носовую кабину.

Чукчи, упираясь меховой грудью в ребра тяжелых крыльев, растолкали машину. Сорвались с места примерзшие лыжи, самолет скользнул вперед, увлекаемый бешеной тягой винта. Все ускоряющийся бег огромной птицы, и вот она уже плывет в воздухе, забираясь все выше и выше...

Больше двух часов уже летит самолет над льдами. Летнаб ерзает в «моссельпроме». Он мечется от прибора к прибору, от счетной линейки к ветросчету. Он чувствует на себе пристальный взгляд пилота. Где же лагерь? Ему пора бы уже показаться. Пора бы уже увидеть там внизу клубящийся дым — они ведь обещали целую иллюминацию...

Лагеря нет. Попрежнему безжизненна и угрюмо спокойна ледяная пустыня. Девиация[24] устранена, компас верный, и все же летнаб стучит по компасу. В чем дело? Где же лагерь? Все учтено — скорость, расстояние до лагеря и время по-

лета, — пора бы уже увидеть лагерь. Сбились с курса? Возможно — ветер усилился и как будто бы переменился...

Ляпидевский отрывает одну руку от штурвала и машет ею. И вдруг все замечают, что подвязки у шапки пилота ослабли и вихрь, буйствующий в его открытой кабине, вот-вот обнажит ему голову.

Бортмеханик Куров, держась за стенки кабины, пробирается к пилоту и пробует укрепить шапку. Он снимает рукавицы, но руки мгновенно коченеют. Куров пятится назад, добирается до правого мотора, открывает краник бензинного бака и подставляет под него руки. Бензин испаряется очень быстро, но руки приобретают способность несколько минут противостоять морозу. Он возвращается к пилоту и привязывает шапку. Справившись с шапкой, он вдруг замечает, что нос Ляпидевского совершенно бел, что и на щеках у него выступили белые пятна.

— Ты обморозился! — кричит он пилоту. — Держи штурвал крепче, я буду растирать лицо снегом.

Смочив снова руки бензином, Куров собирает снег, набившийся в фюзеляж, и трет им изо всех сил лицо Ляпидевского.

Конкин что-то кричит, но никто не слышит его. Тогда он неуклюже тычет своей огромной рука-

вицей куда-то направо. Ляпидевский поворачивает голову — и тотчас же делает крутой разворот. Впереди грозная стена снеговых туч. Самолет внезапно бросает с крыла на крыло. Внизу под самолетом исчезли льды — густая пелена вихрящего снега.

Пурга...

Изо всех сил пилот держит ручку штурвала. Его веки отяжелели от инея. Леденящие стрелы мороза пронизывают тело. Усталость сковывает члены....

Резким ударом по рычагу он доводит до отказа число оборотов мотора. Нет, он не сдастся слепой стихии. Пурге не удастся сбросить дерзкий самолет туда, вниз, на острые торосы...

Как сквозь сон, помнит Ляпидевский посадку в Уэлене. Глубокий снег лагуны летит навстречу, самолет, подпрыгивая, чертит крылом...

Огромным усилием воли он поднял непослушное тело, вылез из кабины на крыло и... упал в снег.

• • •

Упряжка остановилась.

— Этти! — закричал Туккай.

— Этти, Туккай! Кого привез? — услышал Ляпидевский знакомый басок. Человек подошел к нарте и ахнул.

— А-а, ренен-кляуль — человек-самолет, кто тебя так украсил?

Ляпидевский поднялся.

— Не смейся, Магомет, вчера обморозился в воздухе.

— Да разве я смеюсь? Иди скорее в дом! Этки, этки.[25]

За сутки Туккай довез летчика до губы Лаврентия. Здесь на косе, между рекой и морем, стояли рядком дома чукотской культбазы. Дальше, через старое чукотское селение Яндагай, дорога вьется по снежным сопкам к фиорду Провидение, где на льду в бухте Эмма стоит вторая двухмоторная птица. Глубокой осенью ее доставил сюда пароход. Привести ее в Уэлен — задача Ляпидевского.

Чукчанка — жена Магомета, старого пекаря культбазы — всплеснула руками, увидев Ляпидевского.

— Ай, леут этки такой, ты упал, ренен-кляуль, упал.[26]

— Обморозился он. Не видишь — руки, ноги целы. Разве так падают? Ставь лучше чай на стол, — улыбнулся Магомет.

Ляпидевский разделся. Остался только в синем пилотском кителе и огромных меховых сапогах. Но хозяйка дома, поставив перед ним туфли из блестящей нерпичьей кожи, искусно расшитые

тонким орнаментом, заставила снять сапоги и тут же вывернула их для просушки.

Стал собираться народ. Доктор, учительница, пограничник, радист, чукчи, приехавшие из Яндагая. Ахали-охали, справлялись о здоровье, куда едет, как там челюскинцы, что думают с ними делать.

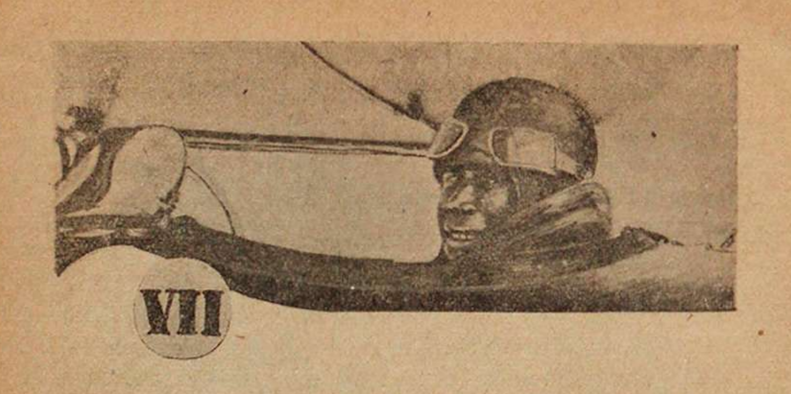
— Нет, на собаках до них не добраться. По торосам собакам не пройти — ни юколы ни копальхена[27] нехватит. Нет, нет. Тут разве только самолеты помогут. Посмотри, какие мы тут для них палаты приготовили, человек на восемьдесят, а то и на всех места хватит. Спасайте только скорее...

— Бедные. Женщин особенно жалко. Как они там, да еще с ребятами, — вставила Лара, молоденькая учительница из Яндагая. — Ох, хоть бы поскорее их спасли. Только удастся ли? Вот и чукчи не верят, говорят: кто попал на пловучую льдину, — тому не бывать уже на земле.

— Эх, Лара, Лара, а еще просвещенец, — улыбнулся Ляпидевский, придерживая марлю у губ. — Дай срок, мы тебе не только дамочек, а и матросиков сюда подбросим. Трудно тут летать, правда, особенно трудно в море над торосами, — ну, да ничего. Скоро нас тут много соберется. Одному не удастся — другой долетит. А живут они там довольно спокойно. Во всяком случае, сами

так сообщают. Только я думаю, что не очень-то спокойно. Нужно спешить к ним. Вот и я за другой машиной еду. Что? Как себя чувствую? Нормально.





VII

СРЕДИ огромных торосов, километрах в пяти от лагеря, ровное ледяное поле. Метров шестьсот в длину, триста в ширину. Гуляет по нему поземка, треплет флажки, наметает твердые стрелы заструг.

Сколько труда поглотило это поле! Каждый день, таща за собой груженные инструментами нарты, пробирались сюда бригады. Они упорно врезывались в хаос ледяных глыб.

Со звоном раскалывались торосы под ударами ломов, глухо стучали трамбовки, дробя мелкие

выступы, шоркали лопаты... Тяжело дыша, налегали люди на лямки саней, нагруженных обломками льда...

• • •

И вот лежит оно, это ровное ледяное поле шестьсот метров в длину, триста в ширину.

Наметает поземка твердые стрелы заструг, но стихает ветер, и снова шоркают лопаты, звенят ломы, стучат трамбовки...

Аэродром готов.

У края его, там, где начинается дорога в лагерь, стоит палатка. В ней живет аэродромная команда — Валавин, Погосов и Гуревич. «Тройка черных», как их прозвал Шмидт.

Сегодня они взволнованы. Бабушкин прибежал из лагеря сказать, что самолет вылетел из Уэлена.

— Пошли, пошли, ребята, — нужно еще раз промерить площадку... Ну-ка, Погосов, Валавин, — пошли. А ты, Гуревич, готовь какао — угостить надо гостей.

Радуется Бабушкин, шагая по аэродрому. Все в порядке. Челюскинцы научились-таки делать аэродромы. На эту площадку целый отряд самолетов посадить можно. Довольны будут пилоты. Он поднес руки ко рту, хотел что-то крикнуть Погосову, шедшему правее, и замер... под нога-

ми сухо треснул и дрогнул лед, еще раз и еще... Издали донесся заглушенный крик Погосова:

— Лед колется!.. Сжатие? Михаил Сергеевич, а как там у вас?..

Бабушкин не успел ответить. У самых его ног с громким, похожим на выстрел, треском раскололось ледяное поле. Полуметровая трещина рассекла аэродром. Бабушкин перепрыгнул через нее и побежал к палатке. Трещины все чаще возникали на его пути, и вдруг в пулеметную дробь колющегося льда ворвался оглушительный грохот. Громадные глыбы поднялись на ровном поле аэродрома, поползли со стоном и скрипом одна на другую, громоздясь в чудовищные торосы, мгновенно скрывшие и Погосова и палатку...

— Ну, и испугался же я за вас, Михаил Сергеевич, — задыхаясь от быстрого бега и прыжков по шевелящимся льдинам, кричал Погосов. — Пропал, думаю, человек — раздавило, наверное, или в трещину провалился. Не помню, как через торосы сюда к вам перебрался. Вот хорошо все обошлось, а?.. — восклицал он, немилосердно тиская руки пилота.

— Да, история неприятная, — проговорил Бабушкин, взбираясь на торос.

— Ну-ка, посмотрим, что у нас от аэродрома осталось. Кажется, не все поломано, метров триста еще, пожалуй, уцелело. Но если и там тре-

щины, придется выкладывать крест — не примем самолет.

Вокруг было тихо, и только временами звякали, отрываясь от вершин вздыбленных громад, маленькие льдинки.

Они снова разошлись. Зигзагами ходили по уцелевшему аэродрому.

Погосов нетерпеливо кричал:

— Не вижу трещин.

— А я нашел одну, но небольшую — забьем снегом, сойдет, — отвечает Бабушкин. — Зовите-ка сюда Гуревича, пусть несет лопаты.

Трещины забиты, черные флажки расставлены снова.

— Можно принять самолет, — говорит Бабушкин и резко поворачивается в сторону лагеря. Оттуда несется:

— У-у-р-ра-а!

Гуревич, успевший вернуться в палатку, выскакивает оттуда с полотенцем, смотрит в небо и кричит:

— Самолет, ребята, самолет... Я вижу, вижу, вон он!..

Самолет заметили все. Черная точка растет. Вот уже видно тупое рыло «моссельпрома» и два мотора по сторонам.

— Туполевской конструкции, прекрасная машина, — шепчет Бабушкин. — Эта заберет у нас

всех женщин. Саша, сюда, сюда. Вот здесь давай выложим «Т».[28] Здесь удобнее...

Снижающийся самолет делает круги — один другой — и идет на посадку. На аэродроме четверо, — из лагеря еще не успели прибежать.

Замерли сердца у аэродромщиков... Самолет вот-вот коснется льда, — а что если сжатие только притихло, что если вот сейчас снова запрыгают, грохоча и стреляя, льдины, заходит ходуном ледяное поле?..

С придушенным свистом спускается машина. Пилот парашютирует и опускает самолет возле самого «Т».

— Молодец, — не выдерживает экспансивный Погосов. — Вот ловко сел. Ур-ра!..

Самолет рулит к палатке. Навстречу ему с громкими криками бегут аэродромщики.

Первым выскакивает летнаб, потом летчик. Он сдвигает на козырек шапки очки, снимает с лица нежную пыжиковую[29] маску, и челюскинцы видят голубые веселые глаза, новую, еще розоватую кожу обмороженного совсем молодого лица.

— Так вот он какой Ляпидевский! — смеется Погосов. — А я думал, что в роде Бабушкина, пожилой такой. А он наш брат — комсомолия. Ну, выходите поскорей, пойдемте какао пить. У нас задержка маленькая — нет еще пассажи-

ров. Торосы видите? Это перед самой вашей посадкой наломало.

— Да что вы? — удивляется Петров. — У вас уж не так-то спокойно.

— А пассажиров мы сверху видели, — говорит Ляпидевский. — Вас ведь откололо от лагеря, вы знаете? Большое разводье, и люди, наверное, не могут перебраться. Там куча людей стояла, мы видели, а от лагеря тащили шлюпку.

— Ну вот, выходит вы пока можете закусить в палатке. Пойдемте-ка, пойдем, — приглашает Бабушкин, пожимая руки гостям.

— Это успеется. Сначала помогите нам разгрузить машину — мы ведь привезли вам тут кое-чего.

Из самолета выгружаются две туши свежего оленьего мяса, четыре заряда аккумуляторов для радиостанции лагеря и две оленьих шкуры. Валавин тотчас же нацеливается на одну из них.

— Это нам по праву, ведь мы могли выложить «крест», и нет подарков. Не сея бы самолет, — смеется он.

Проходит добрый час, а из лагеря никого нет. Гости сидят в палатках и пьют горячее какао. Только механик Руковский попросил себе кружечку в самолет, — он один, а моторов два.

Это есть наш последний и решительный... послышалось издали.

— Вот и пассажиры, — говорит Погосов. — Дам наших ведут. То-то начнется полундра — прощанья, проводы. Ну да сегодняшние проводы мне нравятся, а вот когда меня жена провожала, слез было — беда... А сегодня, чего там, — радости сколько.

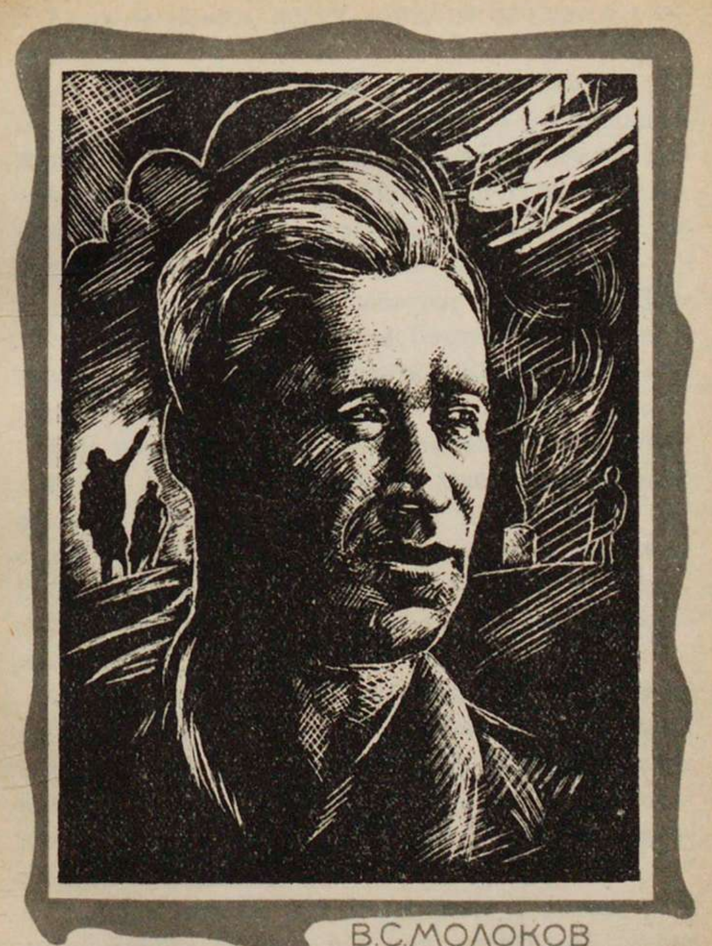
— А ну, где тут наши дорогие гости? — вошел сияющий Шмидт. Веселые огоньки пляшут в его глазах. Он обаятельнее, чем всегда.

— Великолепно, замечательно, — говорит он, сжимая руки пилотов. — Очень приятно, что именно комсомолец привел к нам такую прекрасную машину. Поздравляю, поздравляю, Ляпидевский. Ну, однако, идемте — принимайте первых пассажиров, пассажирок, вернее. Вы сможете забрать всех наших женщин — их десять — и двух детишек?..

— Вполне, Отто Юльевич, но мы все-таки еще раз осмотрим площадку — она у вас с капризами.

Шумно и весело на аэродроме. Женщин укутывают в меха, напутствуют. Уговаривают не волноваться, сидеть спокойно. Радостная суета, громкий смех...

Вот уж женщины в кабине. Их глаза затуманены счастливыми слезами. Мужья получают право последнего поцелуя. Они лезут на широкое крыло прекрасной птицы.



В. С. МОЛОКОВ



Аэролог Комов, целуя жену, на прощанье шепчет:

— Ольга, ты помнишь, старик Айльсихен нам на Чукотке рассказывал сказку об Айваналине. Как его с пловучей льдины вынес на землю сказочный лебедь. Вот он какой наш советский новый лебедь, а-а? — и он весело похлопывает по звонкому кольчуг-алюминию.

— До свидания, — отзывается Ольга. — Держитесь тут крепче, красные богатыри. До свидания в Уэлене или в Лаврентии. Коля, спрыгивай, вон Ляпидевский торопит.

Еще раз перебегает со своим тяжелым киноаппаратом Аркаша Шафран. Он уже «накрутил» немало кадров, но ему хочется поэффектнее заснять момент взлета. Еще раз нацеливается «лейкой» Новицкий.

Ляпидевский взмахнул рукой, машина сдвинулась с места.

— Счастливый путь, — несется вслед. Самолет заруливает в угол треугольного куска аэродрома и оттуда идет на взлет. Тревожно смотрят вслед провожающие — вот-вот уж торосы... и радостное «ура» приветствует искусство летчика, сумевшего во-время поднять машину в воздух.

Самолет несется над вершинами торосов, разворачивается, делая круг над площадкой, забирается выше и ложится на курс — в Уэлен...

Шумной ватагой возвращаются в лагерь челюскинцы...

• • •

Утро. Сегодня холоднее, чем вчера. Валавин смотрит на аэродром и не узнает его. На самой средине, там, где вчера так ловко посадил свой самолет Ляпидевский, громоздятся торосы. А кругом веером расползаются трещины. Валавин возвращается в палатку и докладывает:

— Ну, ребята, сегодня самолета не ждите. Поработать придется здорово. Все к чертям покололо. Саша, может ты пойдешь в лагерь — сообщить надо Отто Юльевичу. А то еще самолет вылетит, куда нам его принимать.

— Пойду, — отзывается Погосов. — Я там с полмесяца уже не был.

Саша пробирается ледяной тропой, то карабкаясь на гребень изломанных льдов, то скатываясь по их скользким ребрам. Вдали трепещут два красных флага. Видны тонкие струйки дыма. Лагерь уже проснулся. Вон кто-то идет навстречу этой же тропой к аэродрому. Сошлись на высоком гребне. Это матрос Лесков тащит в мешке продукты «черной тройке» — Шмидт послал.

— Ну, как у вас там, жало ночью? — спрашивает он.

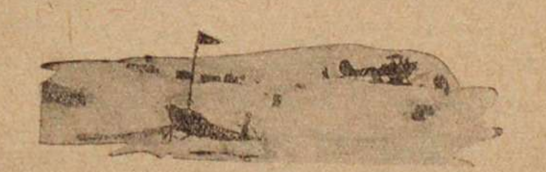
— Еще как. Так жало, что сегодня и самолету

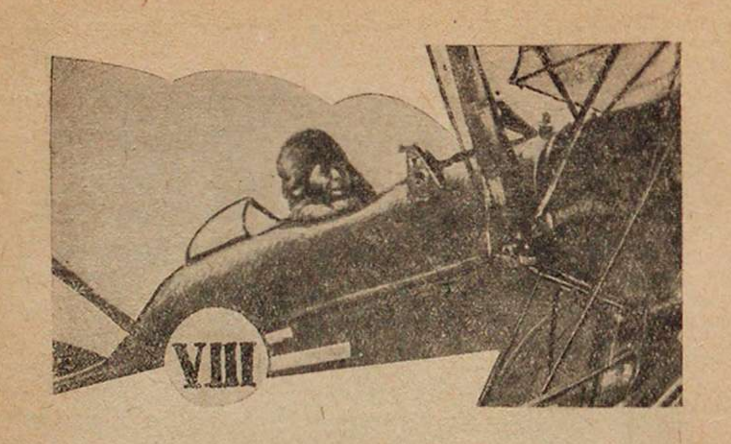
сесть некуда. Иду вот за ребятами, ремонтировать нужно. А у вас?

— Ой, Сашко, хорошо, что женщин вчера отправили... Как раз ихнюю часть барака оторвало. Трещина вот такая, — и Лесков показывает, разводя руками, какая трещина. — Разорвало барак, одну половину от другой метра на полтора оттащило. Очень неспокойная была ночь. Такая полундра, нет спаса... Так мне, может, к вам сейчас не ходить? Забирай мешок, да и дуй обратно.

— Дудки, брат. Ступай, ступай и начинайте там с Жоркой и Витькой ропаки сшибать, а я дойду до лагеря сам — хочется ведь посмотреть, как вы там живете. Ну, — пошли.

И, спрыгнув на тропу, Саша зашагал дальше.





МОЛОКОВА я встретил в купе транссибирского экспресса. Зеленый полумрак. Вагон мягко покачивается на рессорах. За окном серебрятся в лунном сиянии дальневосточные горы.

Молоков едет из Красноярска. Я вижу его впервые. Смуглое лицо с ласковыми голубыми глазами. Чуть подернутые сединой волосы. Он лежит навзничь с белой костяной трубочкой в зубах.

Тихо и как-то осторожно, очевидно для перво-

го знакомства, он рассказывает о полетах над льдами Карского моря, над тайгой и тундрами родного мне Енисея. Голос его звучит мягко и ровно. Я закрываю глаза, и передо мной возникают Красноярск, Игарка, Дудинка, Диксон...

• • •

Владивосток. Вокзал. Нас не встречает никто. Отправляемся на поиски Дальневосточного управления ГУСМП.

С нами еще один московский летчик — Фабио Фарих. Всю дорогу он, неизвестно почему, мечтал вслух о том, что нас встретят цветами. Флегоша Бассейн, его бортмеханик, безжалостно высмеивает обескураженного мечтателя и великодушно соглашается посидеть на чемоданах, пока мы вернемся.

Искомое управление найдено. Мы ожидаем членов комитета, снаряжающего на помощь челюскинцам пароход «Смоленск». Завтра он должен выйти в плавание, увозя летчиков и их самолеты. Комитетчики носятся со склада на склад, и мы решаем дождаться их на крыльце дома, откуда хорошо видны и порт и город.

Причудливо извилисты очертания бухты. У многочисленных причалов теснятся суда. Их очень много — и наших советских и «иностранцев». Гул голосов, стук лебедок, пыхтение и треск катеров,

снующих взад и вперед, время от времени покрываются мощным ревом пароходных гудков. С ними перекликаются паровозы, катящие по портовой набережной длинные красные составы.

А вокруг бухты сопки. Улицы города, опоясывая порт, взбегают на их крутые склоны. Дома часто лепятся на уступах. Непривычному глазу странно видеть дикие голые вершины в самом центре оживленного города.

Прямо перед нами сломанный бугшприт израненного «Литке». Он только-что вернулся оттуда, где погиб «Челюскин». Фарих радуется, видя этот корабль, точно он увидел старого знакомого.

— Как же, как же, на этом самом корабле мы вместе со Слепневым везли самолет в бухту Провидение. Это было зимой двадцать девятого года. Оттуда мы вылетели на поиски Бена Эйльсона...

Фарих говорит, говорит без конца...

Молоков стоит, молча посасывая трубку. Он в болотных высоких сапогах и поношенном кожаном реглане. Потертая пыжиковая шапка, в которой он всего десять дней назад летел с Игарки, ничего не подозревая о судьбе «Челюскина», слегка сдвинута на затылок.

«Челюскина» он видел в сентябре минувшего года среди многочисленных кораблей, собравшихся около мыса Челюскина. Для этих кораб-

лей он искал во льду дорогу из Карского моря в море Лаптевых, к устьям Колымы и Лены...

Вдруг лицо Василия Сергеевича оживляется:

— Смотрите-ка, — говорит он, показывая вниз.

Я всматриваюсь и среди множества ползущих вдоль причалов платформ вижу несколько платформ с лежащими на них бескрылыми зелеными корпусами самолетов.

— Это ведь «Р-5». Их, значит, грузят на «Смоленск»... Ты летал на них?.. — спрашивает он Фариха.

— Ну, еще бы... Только это не северная машина. И тем более не для такого дела. Ну, сколько человек в нее возьмешь?

Молоков лукаво улыбается.

— А однако, паря, не так. Я на ней летал по факториям Тазовской тундры и по одиннадцать мешков пушнины совал в фюзеляж. Думаю, что кроме меня всегда можно на нее взять четырех человек, а если бы было куда, то и больше.

— Нет, что там. Вот американские машины хороши, — настаивает Фарих. Насмотрелись мы, когда со Слепневым летали на Аляску. Моторы «Райт-циклон» — это же звери...

Через час мы были в порту. Пароход уже принял уголь. Грузилось продовольствие и самолеты «Р-5». Накрытые брезентовыми чехлами, они беспомощно болтались на стропах лебедок и под

традиционные «майна-вира» и «шкентель помалу» исчезали в трюме.

Грузили самолеты матросы и молодые, раскрасневшиеся от напряжения люди в шлемах и с голубыми петлицами.

Молоков спросил ближайшего:

— А где тут у вас товарищ командир?

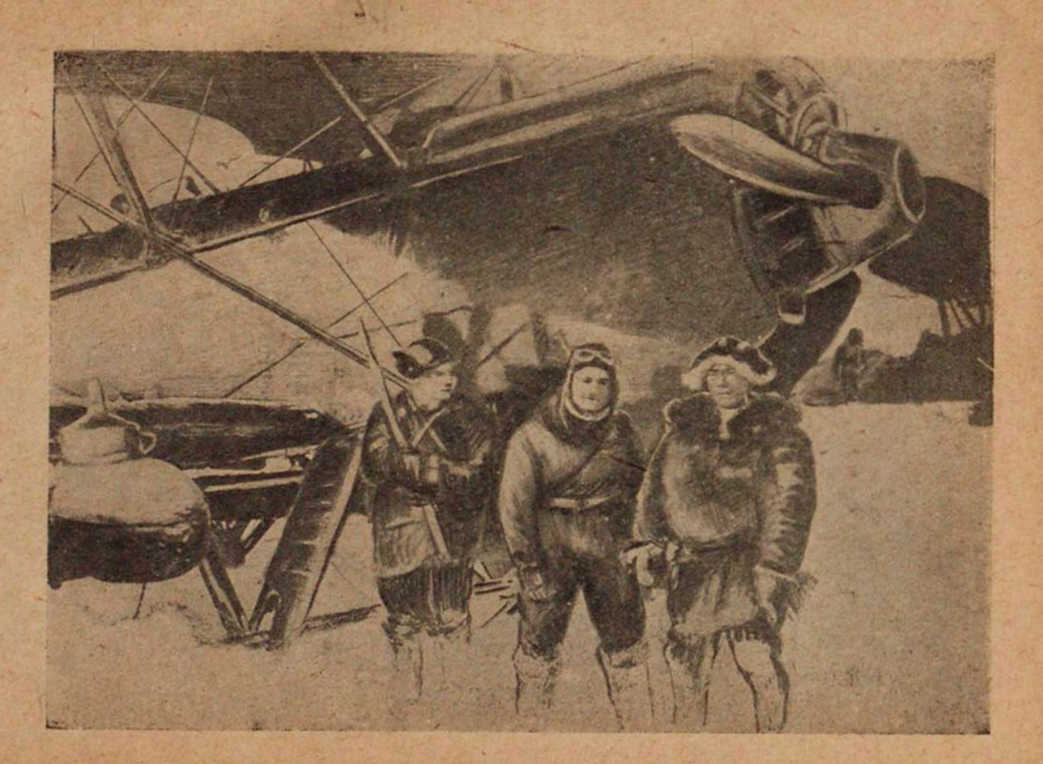
Тот привел к человеку, склонившемуся над бочкой с бензином. Отвинтив пробку, он поплескал бензином на рукавицы, выжал их, бензином же промыл руки, испачканные в моторном масле, и, наконец, повернулся к нам. Над черными спокойными глазами высокий чистый лоб. Улыбнулся — блеснули ровные белые зубы. Шагнул навстречу — маленький и аккуратный.

— Я — Молоков — правительственной комиссией командирован лететь к челюскинцам вместе с вами. Будем знакомы, — протянул руку Молоков...

— Очень приятно... Каманин, — еще раз улыбнулся молодой командир.

Погрузка закончилась под вечер. Пароход должен был тотчас же отходить — истекал срок, установленный правительством. Мы едва успели внести в каюты свои чемоданы и узелки, как вахтенный попросил всех на митинг.

Это был очень скромный митинг. Даже без оркестра. Матросы, кочегары, летчики и десятка



30 марта. Наш самолет в Кайнэргине. Слева с лопатой Герман Грибакин, в середине Бор. Пивенштейн. Справа Номессау.

четыре провожающих — в большинстве жен моряков. Тем не менее говорили горячо, с подъемом. Молодой помполит Злобин, только вчера пришедший на корабль прямо из комвуза, в пылу речи пообещал дойти «до Северного полюса».

— Ну, загнул, — морщится Каманин, — хоть бы до Провидения довезли, а там уж мы сами...

Прощальные гудки. «Смоленск» медленно разворачивается. Город провожает нас тысячами огней, мягко мерцающих в сумраке предвесеннего тихого вечера...

Знакомимся. Я жму руки и от души говорю: «Очень приятно!» В самом деле — очень приятно видеть всех этих людей, молодых и сильных, способных спокойно и уверенно решить любую сложнейшую задачу. Ни тени грусти или тревоги, как будто и не ждет их труднейшая опасная работа-подвиг.

Все они коммунисты. Ночью, получив приказ наркома, командир эскадрильи вызвал и спросил:

— Готовы ли вы работать в Арктике и знаете ли, что это такое?

Один оформил свой ответ так, другой иначе, но смысл ответа был одинаков у всех:

— Готов работать везде, где велит родина.

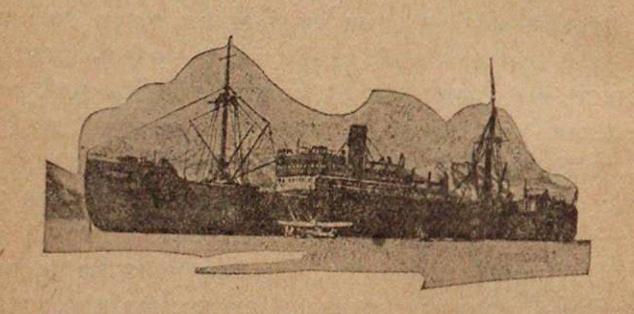
— Хорошо, приготовьтесь. Вы назначаетесь командиром самолета в экспедиции по спасению челюскинцев. Самолет погрузить немедленно.

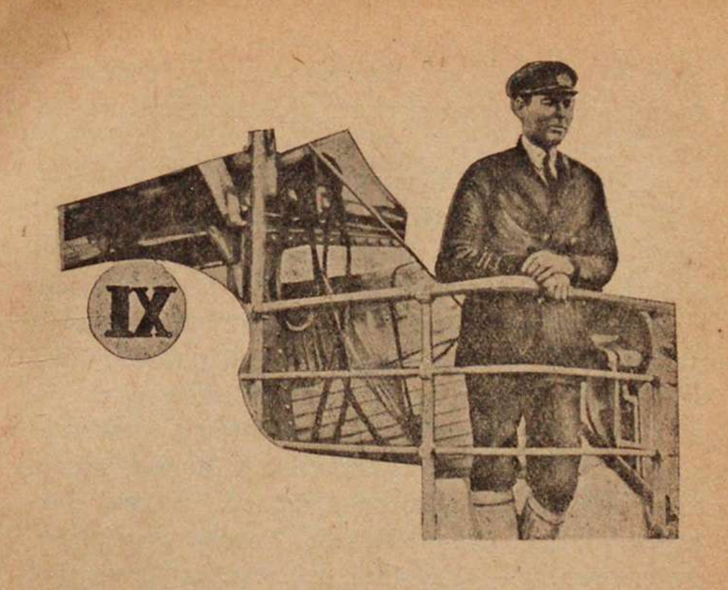
— Есть, товарищ комбриг. Назначаюсь командиром самолета в экспедиции по спасению челюскинцев. Самолет погрузить немедленно.

Поворот кругом и в ангар, а оттуда на станцию. Суета погрузки... Рассвет. На полчаса домой. У кого есть жена — повторяется приказ комбрига, и вот уж в чемодане белье, носки, бритвенный прибор, одеколон и любимая книга.

Поцелуй — один, другой и совет:

— Читай, родная, газеты. О нас, конечно, будут сообщать.





ТРИ ДНЯ в пути. Спокойна, солнечно-ласкова погода.

Непохоже, что это только начало марта. Хабаровск нас проводил снежной вьюгой, а там впереди, где-то за Чукоткой, плавает гигантская льдина с лагерем Шмидта.

Мы пересекли уже Японское море и прошли Сангарский пролив между Хоккайдо и Ниппо-

ном. Но Японии не видели, — она промелькнула бусами электрических огней, растянутыми по побережью.

Жизнь на корабле налаживается.

Шелыганов — штурман и парторг летного отряда — после завтрака обычно занимает кают-компанию под кружок изучения решений 17 партийного съезда. После обеда мы углубляемся в новые карты районов предстоящей работы. Поднимаем рельеф, т. е. заштриховываем отмеченные на карте высоты и линию берега, намечаем маршруты перелета. Привыкаем к новым названиям — Анадырь, Олюторка, Уэлен, Чаплин, Ванкарем, Онман, Сердце-Камень. Готовится к выходу стенгазета — «Ударный рейс». Состоялись уже собрания, на которых основательно ругали буфетчика-завпрода и объявили борьбу за гигиену.

Все идет нормально.

Помполит вывесил обширный план общественной жизни экспедиционного корабля на каждый день.

Но так прочно, казалось, налаженная жизнь вдруг круто изменилась.

Солнце скрылось за тяжелым слоем облаков. В это время «Смоленск» проходил вдоль островов Курильской гряды, и в широкие проливы между ними засквозил противный охотский ве-

тер. Он крепчал с каждым часом, и, наконец, заревел восьмибальный шторм.

Началась сильнейшая качка. Крен судна временами достигал пятидесяти двух градусов.

Жизнь на пароходе замерла — почти все, за исключением моряков, залегли в каютах, не выходя из них даже к обеду. Да вряд ли можно было называть обедом эту жалкую пародию на прием пищи. О тарелках и прочем не приходилось даже и думать — еду подавали в чашках. Их нельзя было ставить на стол — держали в руках. Но поесть все же не удавалось, так как даже самые устойчивые из моряков не могли усидеть за столом.

Так прошел день, второй, третий, четвертый...

В каюте невообразимый хаос и нелепая суета. По полу носятся чемоданы. Закрепить их никак не удается.

Тягостно медленно ползет время.

Лежу на койке, упершись ногами в стенку каюты, и пытаюсь читать.

Спасение от скуки приходит извне. Дверь резко открывается, и на пороге появляется качающаяся и приплясывающая фигура вахтенного радиста. Его лицо сияет. Чувствуется, что он не в силах таить в себе нечто весьма интересное, но ему хочется подчеркнуть нашу зависимость от него — поинтриговать нас.

— Новость, — кричит он, — да еще какая! Только что поймали... Эх, и новость! Слезай! Если устоишь на полу ни за что не держась, — расскажу.

— Мишенька, — мой голос умоляюще дрожит, — ты тиран. Ты чудовище. Ведь это же адское испытание. Но я спрыгну... спрыгну, только ты скажи. Вот — и готово, смотри. Стою же, стою, разве не видишь? Ну, это не в счет. Скажи, родной, не томи... Ну, что же за новость?

— Ляпидевский слетал в лагерь и вывез всех женщин и детей, — торжественно чеканит Миша. Летал на АНТ, двухмоторном. Готовится в новый полет.

Выделывая невообразимые антраша и больно стукаясь о стенки коридоров, мы спешим с радостной вестью в каюту Каманина.

Здесь мы застаем всех наших летчиков. В каюте тесно и оживленно. Говорит Молоков. Он рассказывает о своих полетах над тайгой, тундрой и льдами, он отвечает на многочисленные вопросы, подробно объясняет, для чего нужны в северных полетах паяльная лампа, лишний кусок замши и запасной бидон для бензина.

Все внимательно слушают Молокова и весело комментируют, опираясь на собственный опыт, его советы.

Мы с Мишей бесцеремонно прерываем беседу.

Спеша и перебивая друг друга, мы выпаливаем нашу новость.

Каманин деловито спрашивает:

— А какая температура воздуха была при полете?

Миша снова пробегает глазами радиограмму.

— Минус тридцать два...

Каманин улыбается:

— Ну, что ж, на АНТ тот же мотор, что и у нас. Если удалось на тяжелой машине, то на наших — подавно. Верно, Василий Сергеевич?

— Совершенно верно. Только, ребятки, помните — север любит спокойствие и выдержку, тогда все как по маслу...

— Ну, конечно, — встрепенулся Пивенштейн.— Только в спокойной голове рождаются быстрые и правильные решения. Ах, как хорошо, что уже удалось снять первую группу. Это очень дельная разведка. Каманин, ведь это же чудесно, — значит наши самолеты могут там работать...

— Наши самолеты везде должны работать.

— Правильно, но знаешь ли, что я вычитал из одной книги о севере? Авторы-то какие знаменитые — Амундсен и Свердруп. Они рукой махнули на использование самолетов во льдах.[30]

— Ну, это мы еще посмотрим, — сдержанно улыбнулся Каманин. — Я рад, что уже проверена возможность посадки в лагере...

• • •

К ночи качка несколько ослабела — пароход лег в дрейф против волны. Мы были уже вблизи Петропавловска, но войти в узкие ворота Авачинской губы в такую туманную ночь капитан не рискнул.

Только с рассветом мы избавились, наконец, от проклятой качки, войдя в спокойную воду чудесной бухты, окруженной со всех сторон высокими сопками. Сразу попали словно в иной мир.

До сих пор с каждой милей мы чувствовали, что удаляемся от весны, все ощутимее становилось холодное дыхание севера. Туманная хмурь ночи и длинные сосульки, остающиеся на палубе после набегов волн, усиливали это впечатление. В Петропавловске мы ожидали увидеть только трубы, торчащие из-под снега, — и вдруг такой прекрасный весенний день.

В Петропавловск «Смоленск» зашел за пресной водой, полярным снаряжением для пилотов, а также, чтобы перебункеровать уголь и взять упряжку камчатских собак с нартой.

Здесь мы узнали еще две интересных новости:

Слепнев и Леваневский уехали в Америку, чтобы на купленных там самолетах лететь через Аляску в Уэлен и лагерь Шмидта; «Красин» из Ленинграда вышел в необыкновенный поход, через

Атлантику и Панамский канал, сюда к нам, тоже на помощь челюскинцам.

Фарих хлопнул Молокова по плечу:

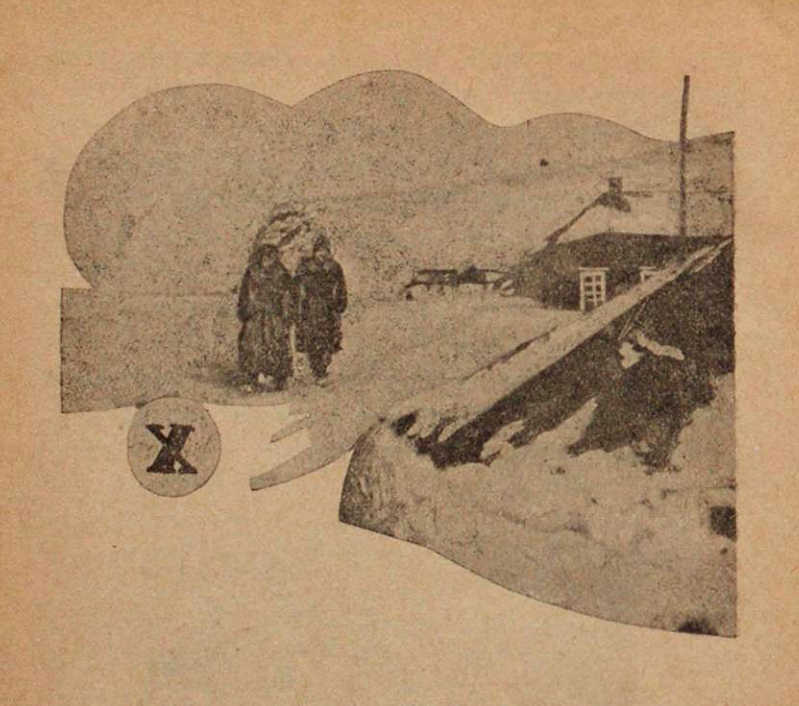
— Вот, старина, это я понимаю — Слепнев и Леваневский будут там раньше всех.

Молоков задумчиво ответил:

— Хорошие летчики... Что же, мы тогда с удовольствием пожмем руки челюскинцам в Провидении или в Уэлене...

На другой день утром «Смоленск» вышел из тихой гавани в разъяренный океан и взял курс на Командорские острова к морю.





РАБОТАТЬ на севере Молоков стал из-за англичан...

В родное село Ирининское под Москвой он пришел как выходец с того света.

Хмурый, небритый, со следами грязного пота на лице.

Анна Степановна зарыдала:

— Сынок, Васенька, ты ли, соколок? Ведь я,

старая, в поминанье уже за упокой души вписала. Васенька, дитятко...

И не зря удивлялась Анна Степановна. Только одно письмецо получила она за все годы с тех пор, как забрали Василия в царский флот. Да и пришло это письмо так давно, что флотского все уж в Ирининском считали погибшим.

Побыл дома он только ночь. Был хмур и молчалив. Так ничего и не рассказал о себе. Только когда уж очень расплакалась мать на его смуглой груди, нежно лаская ее, проронил скупо:

— Ничего, матушка, не плачь. Худая была жизнь у меня, только теперь к лучшему пошло. Ты уж не беспокойся.

Только и рассказал, что уж не флотский он теперь, а воздушный, можно сказать, человек — механик при самолетах. Утром попросил картошки и буханку хлеба. Уложил все в заплечный мешок и стал молча прощаться с родными.

Анна Степановна подошла к нему, роняя тихие слезы, и трясущимися руками хотела повесить ладанку на грудь сына. Но он, неожиданно улыбнувшись, крепко обнял мать и сказал:

— Не надо, матушка, я страшное в жизни без бога прожил, теперь я за трудовое дело воюю... — крепко поцеловал соленые щеки матери и ушел...

Девятьсот девятнадцатый год. В двухстах ки-

лометрах от Котласа, на Северной Двине, авиационная база красного фронта. Архангельск в руках генерала Миллера и его британских хозяев. На Северной Двине, у Бакарицы и Маймаксы, военные суда интервентов.

Самолет «М-20» — летающая лодка. К ней приспосабливали зимой лыжи. Мотор РОН — сто двадцать сил. Скорость сто двадцать километров в час. Он поднимает двух человек, пулемет, две двухпудовые бомбы и еще маленьких бомб столько, сколько сможет захватить механик и летнаб-бомбист Василий Молоков.

Самолет вылетал обычно задолго до рассвета, чтобы еще затемно покрыть двести, а то и больше километров.

Бомбист Молоков проверял огневой запас, самодельный прицел из трех гвоздиков, плотнее укладывал пачки «бомб» другого сорта, что рассчитаны были не на броню британских миноносцев. Это были листовки на английском языке. Они начинались словами:

Братья, вас обманывают. Вас заставляют душить русских рабочих и крестьян, борющихся за свою свободу.

Отгремели бои. Англия, прихватив остатки беломиллеровских банд, убралась с нашего севера.

Получила Анна Степановна письмо от сына. Попрежнему скуп он был на слова. Коротко сообщал, что здоров и уже не воюет, а снова служит во флоте, да только не на судне, а флотским пилотом...

В одной из тихих севастопольских бухт есть школа морских летчиков. Здесь Молоков провел почти восемь лет своей жизни. Пройдя суровые университеты голодного детства и безрадостного юношества, овладевший искусством летчика не в школе, а в воздушных боях с врагами молодой своей социалистической родины, он стал прекрасным воспитателем молодых советских пилотов. Его — начальника и учителя — ласково звали «Сергеич». Он говорил всегда тихо, с чуть заметной улыбкой. Но все знали: если Сергеич говорит, — значит крепко продумал это, значит так надо для общей пользы.

Год за годом школа выпускала новых пилотов. Молоков все чаще и чаще встречал в газетах знакомые фамилии — Леваневский, Куканов, Ляпидевский, Доронин, Чернявский... Его питомцы летали высоко и далеко.

Но вот пришло время, когда и он сам «вырвался в воздух».

В 1930 году старый инструктор сам повел воздушные корабли.

АНТ-10, Р-5, Дорнье-Валь...

Свердловск. Омск. Новосибирск. Нарым. Игарка. Диксон...

• • •

Снова север.

Молоков любит север — он успел полюбить его еще тогда, в девятнадцатом. Эта страна в его характере. Здесь нужна спокойная, светлая голова и твердая воля.

Он летает, молчаливый, над молчаливой тайгой. Под ним проносятся берега красавца Енисея, необозримая тундра. Он забирается в Норильские горы, в узкие графитовые коридоры Курейки, в пушные места — Дудинку и Гольчиху.

Молчаливый летает он и над немыми льдами от Новой Земли до Вайгача и Диксона, от Диксона до мыса Челюскина, отыскивая разводья и полыньи для караванов кораблей.

И вот около мыса Челюскина он встречается с кораблем, носящим то же имя. Это судно подошло шестым за один день к пустынному некогда мысу, с холодного и пустынного некогда моря, через которое лег теперь Великий северный путь.

Встреча произошла незаметно. Он спал с трубкой в зубах, поджав ноги, обутые в теплые меховые чулки. Спал крепко.

День выдался очень тревожный. Едва не погиб самолет.

Облетев с утра огромные пространства льдов и воды, Молоков вернулся в бухту и, закрепив свой воздушный корабль у берега, расположился отдыхать. Пилоты готовили себе суп и чай, ожидая, пока радист примет новости из Москвы и метеосводки со всех северных станций. Никто не заметил, как лед стал набиваться в бухту и самолет оказался в ловушке.

Громадная льдина притиснула машину к берегу, так что легкий ее корпус заскрипел и застонал. Все, кто только был на зимовке, выбежали, бросив недоеденный суп, и потащили самолет на глинистый берег. Один из стоявших неподалеку пилотов, протащив по льдинам легкую байдарку, поплыл за помощью к «Сибирякову».

Капитан тотчас же пошел на выручку самолета, который не дальше чем вчера выручил его корабль из ледяного мешка.

Якорем забуксировали угрожавшую самолету огромную льдину и вывели ее из бухты в море. Самолет был спасен, а с ним избавлены от вынужденной зимовки и летчики. Завтра, если будет погода, они смогут лететь на Диксон и оттуда на юг.

Так вот, Молоков спал крепким, но чутким сном человека, привыкшего к опасностям. Проснулся он поздно ночью. Комнату озаряло убогое пламя керосиновой лампы. Свет падал на не-

знакомое бородатое лицо. Вокруг сидели зимовщики и еще какие-то новые люди.

Говорил бородатый человек. Говорил тихо, точными фразами, именно такими, какие любит Молоков. Обращаясь к нему, собеседники называли его Отто Юльевич или — товарищ Шмидт.

— Эге, да это начальник с «Челюскина», — и Молоков приподнялся сначала на локоть, а потом сел, свесив ноги с койки. Он это делал очень тихо, но комната так мала, что трудно было в ней не заметить поднявшуюся фигуру.

— Вот летчик Молоков проснулся, — сказал Шмидту начальник зимовки.

— Очень рад, — приветливо улыбнулся Шмидт. — Скажите, вы восточнее мыса, к морю Лаптевых, летали?

— Да, летал, этак миль на шестьдесят, — ответил летчик.

— Ну-с, а льды?

— Льды... — Молоков встал и подошел к столу за спичкой — запалить трубку. — В море Лаптевых нынче льдов как будто мало. Это значит, что тяжелей будет дальше... А нас здесь вот сегодня едва не затерло, спасибо «Сибиряков» выручил.

— Вот видите, какой «Сибиряков», и авиацию даже выручает, — пошутил Шмидт.

Он встал, и огромная тень от его фигуры за-



Пилоты М. С Бабушкин (справа), Н. П. Каманин (в средине) и член чрезвычайной тройки по спасанию Андрей Небольсин.

крыла весь угол. На Молокова глянули энергичные ласковые глаза. Шмидт протянул руку.

— Мы должны спешить, этой же ночью снимаемся дальше. И вы, кажется, спешите? Счастливого перелета вам, товарищ Молоков.

— До свидания, — ответил летчик. — Счастливого плаванья.

Хлопнула дверь. Сверкнул фонарь за окном. Заклокотал мотор, и в темноту ночи к огонькам, мигавшим далеко за мысом на рейде, побежал огонек катера.

Перед рассветом отрывисто перекликнулись гудки всех пароходов — проводили «Челюскина» в далекий путь через море Лаптевых в море Восточносибирское и Чукотское...

• • •

А Молоков через Диксон вернулся домой в Красноярск, и снова начались его трудовые будни. В пургу, снегопады, туман летал летчик Молоков в лесной порт Игарку с пассажирами и почтой. Летал в Норильск за пушниной. Летал в тундру с ветеринарами разыскивать оленье стадо, которое можно было спасти от буйно распространявшейся по тундре эпизоотии только срочной прививкой.

Дома журит жена Надя и белокурый наследник Валька.

— Папка, чего это ты все летаешь? Мамка плачет...

— Почему плачет?

— Почему, почему, — улыбается жена. — Дома никогда не увидишь... Сердце всегда болит — где он да что с ним... Уж хоть бы что наделал да под домашний арест тебя посадили...

И уже смеется жена, смеется Молоков, смеется и Валька. Вспомнились всем им рассказы залетевшего на перепутьи балагура-шутника Водопьянова:

— Моя жена все меня пилит и пилит, — рассказывал Водопьянов. — Дома тебя не вижу... Такой-сякой... А тут вдруг, уж и за что, не помню, велит меня начальник под арест, под домашний — на пятнадцать ден. Ну, уж тут моя родная повеселела, похорошела, ходит, начальником не нахвалится: «Ах, Миша, вот начальник у тебя — прекрасный человек. Хоть бы еще на месяц засадил. Честное слово, позвоню, попрошу».

— Несчастье нам с вами, это верно, — качает головой Надя. — Вся исстрадаешься, пока ты там носишься где-то. За весь прошлый год — уж я подсчитала — только сорок три дня и дома-то ты был, Вася... Сними-ка эту рубашку — постирать надо, чистую на...

— Папка, я не буду летчиком, — внезапно бурчит Валька.

— Вот как? — хмурится, сдерживая улыбку, отец. — Кем же ты будешь?

— А пожарным...

— Ну-ну! Это, конечно, должность спокойная. Особенно если долго пожаров нет... Ладно, готовься в пожарные. А я вот завтра снова полечу. Эх, и полечу! Страна-то какая! Горы блестят хрустальные, серебром реки текут и лес густущий, вот только где мне посадку сделать?

— Папка, не улетай завтра, — вот тебе пионерское слово, я тогда тоже может быть летчиком буду... А-а, папка?!

— Куда ты опять летишь? — серьезно спрашивает жена.

— Ну, не завтра, не завтра, а послезавтра, — смеется Молоков. — Куда-куда, конечно, по своей трассе...

— В такие погоды?.. Вот Липп улетел, и полмесяца его нет...

— Липп пережидает погоду. У него и самолет совсем другой — юнкерс. У меня надежный...

Приносят записку. Жена тревожно смотрит, притих сынишка.

Молоков, прочтя записку, ловит ее взгляд и успокаивает.

— Нет-нет, — это зовут на бюро ячейки. Надо сходить, ведь они не меньше твоего соскучились по мне. Кажется, мой отчет.

• • •

А послезавтра он все-таки летит. Самолет новый — «Р-5». Хотел перелететь без посадки прямо в Игарку, но сразу же за Туруханском чертовски заболтало — того и гляди скользнешь на крыло. Да и впереди ни шута не видно, вдобавок густо посыпалась снежная крупа, залепляя козырек и стекла «трипликса».[31] Пришлось круто развернуться и искать посадку в Туруханске.

Еще с воздуха он заметил самолет Липпа. Липп возвращался обратным рейсом, но никак не мог из-за порывистого ветра со снегом перепрыгнуть отсюда хотя бы в Подкаменную Тунгуску, откуда дальше к югу погоды бывают устойчивей.

• • •

Прошел день. Ветер стих, снег перестал падать. Молоков вылетел — пустяковое оставалось расстояние — всего триста пятьдесят километров. Но погода обманула. В верхних слоях атмосферы в хвост самолету ударил ветер, да такой дикой силы, что за какие-нибудь пятьдесят пять минут самолет очутился над Игаркой.

Это был безумный полет. Летчик сидел накрутив стабилизатор и обеими руками держа ручку. Он не успевал наблюдать приборы и мелькавшую знакомую местность. Самолет, конечно, пронесло

бы дальше, если бы острый глаз Молокова не заметил прямо под крылом клуб черного дыма, — дымила труба знакомого лесозавода. Искусными виражами, круг за кругом, самолет снизился. Молокова сбежавшиеся власти встретили ворчливо.

— Что ты, Сергеич, рисковый человек, делаешь? Ладно, что сегодня вот посчастливило, а ведь вон, смотри, и губы в крови...

— Обкусал, однако, — смущенно улыбнулся Молоков. — Да, полетец вышел нелегкий. Вот пить очень хочется...

— Пить, пить... А вот мы тебя в такую погоду не выпустим, как хочешь...

Снежный вихрь продолжался несколько дней. Самолет Молокова, как и «юнкерс» Липпа, накрыла тяжелая шуба снега. Когда чуть прояснило, осоавиахимовцы пришли и деревянными лопатами, чтобы не порвать перкаль,[32] осторожно сняли снег, а потом, держа самолет за плоскости, вытащили его из сугроба.

Утоптав своими огромными валенками снег около лыж и повязав шарф вокруг мехового воротника синего комбинезона, Молоков залез в кабину, улыбнулся провожавшим и дал газ. Самолет побежал, задрав хвост, оторвался от снежного аэродрома и сделал круг над этим полным жизни городом, словно чудом возникшим за какие-нибудь пять лет в глухой лесотундре.

Молоков снова нагнал Липпа в Подкаменной Тунгуске. Липп скучал. Он выходил по утрам, в полдень и вечерами, тоскливо всматривался в горизонт и скучный возвращался обратно в душную избу аэростанции. Ветер со свистом гонял ветросчет и надувал «колбасу».[33]

Липп боялся сильного ветра. Сильный ветер бросает «юнкерса» в воздухе как детскую игрушку.

Ночью летчики лежали «валетом» на одной кровати и далеко за полночь разговаривали. Вспоминали молодость, разбирали летные качества любимых машин, говорили о предстоящей летней работе. Силились угадать, какую экспедицию придется им проводить во льдах — карскую или ленскую, а может и ту и другую? Говорили о том, о сем, и вдруг Липп вспомнил:

— А ты слышал, Вася? Здесь по радио с Диксона поймали, что «Челюскин» потонул. Где-то его льдами затерло да и раздавило...

— Да что ты? А народ?

— Про народ не все разобрали. Будто кто-то не успел выбежать, а многие выпрыгнули на лед. Там и живут. От берега порядком, верст больше ста будет...

— Эк ведь несчастье какое! А я его около мыса Челюскина видел — красивый такой пароход.

Вот-те на. А как же Шмидт? Про Шмидта ничего не передавали?..

— Да за его подписью и радио, говорят...

— Значит, жив. Ну со Шмидтом, я слышал, не пропадешь. Да. Так где же их прижало? Если в Восточносибирском море, — так ведь это далеко и места там пустынные. Кто им там поможет?.. Вот интересно — можно ли на собаках или на оленях к ним добраться?..

Мерно тикал будильник...

Ветер хлопал ставнями, барабанил по ним снеговою крупой.

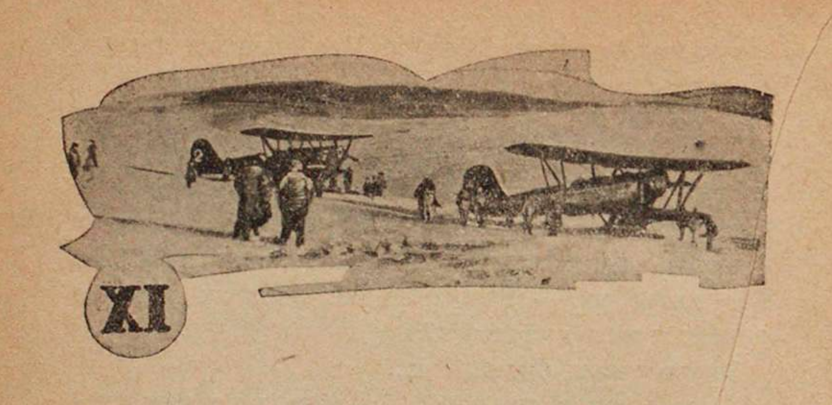
Разговор увядал. Летчики засыпали...

● ● ●

Из Подкаменной Тунгуски радист сообщил, что погода улучшилась, и самолеты вылетели. Начальник аэропорта успокоился — он спешил привести в исполнение телеграфный приказ из Москвы:

> *Командировать летчика В. С. Молокова по приказанию комиссии т. Куйбышева во Владивосток в экспедицию по спасению челюскинцев.*





XI

— **НУ-С, МЫ ГОТОВЫ,** — летнаб Петров легко, для человека, одетого в комбинезон, проскользнул в дверь радиорубки. — Забежал попрощаться с вами, Людмила Николаевна.

Радистка подняла коротко, по-мальчишески остриженную голову и улыбнулась.

— Желаю счастья. Я как раз буду говорить с Ванкаремом. Так что же передать о вас?..

— А вот, что сейчас улетаем. Перегружены ужасно. Захватили лишнюю тонну бензина, под шасси подвязали бочку-«гончарку», чтобы греть



А. В. ЛЯПИДЕВСКИЙ

воду и масло для моторов, много баллонов сжатого воздуха захватили, ну и продовольствия, конечно. Передайте, что может быть сегодня же вылетим в лагерь. Ну, всего хорошего, ударница...

Петров пожал испачканную чернилами руку черноглазой радистки, еще раз улыбнулся ей и вышел из радиостанции, захватив для Ляпидевского листок со свежей метеосводкой: «Ничего не изменилось, погода хороша всюду: здесь и в Ванкареме и у челюскинцев».

Насвистывая, он пошел между яранг к лагуне.

На снежном просторе, обнесенном волнистой линией далеких холмов, стоял самолет.

Оба мотора работали, наполняя обычно спокойный и тихий Уэлен оглушительным ревом. Но чукчи и эскимосы уже настолько к этому привыкли, что почти не обращали внимания. И только старик Пеляуге, и то больше из вежливости очевидно, спросил, поздоровавшись с Петровым:

— Этти! Навэрна ищо туда? — и он показал на торосистое море, махнув рукой по направлению к лагерю.

Штурман улыбнулся.

— Э-э, Пеляуге, да ты, пожалуй, и самолет туда провел бы?

— Навэрна, — равнодушно ответил старик в

след штурману, спешившему на дружный зов моторов, к своему месту в «моссельпроме».

— Не самолет, а воз с мебелью. Точно на новую квартиру переезжаем, — смеялся штурман, обходя самолет.

В самом деле, самолет представлял странное зрелище. Под шасси висела накрепко прикрученная «гончарка», под крыльями — запасные самолетные лыжи, баллоны сжатого воздуха, на крыльях — бочки с бензином и мешки с галетами.

— Ничего не поделаешь, — вздыхал Ляпидевский. От Ванкарема до лагеря Шмидта было всего сто тридцать пять километров, а от Уэлена больше трехсот.

Ляпидевский еще раз обошел самолет, проверил — крепко ли все держится. Затем, подвязав свою пыжиковую маску, натянул очки и залез в кабину, к штурвалу.

Газ дан. Моторы зарокотали громче и гуще. Тяжело переваливаясь с крыла на крыло, самолет пошел к старту.

К Пеляуге подошел, посапывая трубкой, старик с сухим морщинистым лицом. Оно у него казалось ястребиным — низко свисал заостривший-ся нос с горбинкой и остро глядели из-под клочковатых седых бровей серые глазки.

Это был древний уэленский шаман Мелетко.

Пеляуге услышал щелкание его ввалившегося беззубого рта.

— Что, Пеляуге, этот летающий кит снова собрался на льдину?

Пеляуге почтительно ответил:

— И-и-ы.[34]

Мелетко молча смотрел, как «летающий кит» побежал по снегу лагуны и, подпрыгнув разок-другой, взмыл в воздух. Прошло две-три минуты, и вот он уже стал меньше чайки, уходя в марево весеннего морозного полдня, за холмы, тянущиеся по побережью, к мысу Сердце-Камень.

Мелетко уже давно распустил слух, что русским не снять людей со льдины. Ни одного. Вот разве только чукотские духи захотят, так льдину весной, когда заходят льды, притащит к берегу.

Сами чукчи никогда не ищут охотников, которые теряются в море на оторванных льдинах. Их считают погибшими. И если случается кому-либо спастись, то он живет под новым именем.

Ну, кто из смертных может перехитрить «уяльгуяль» — пургу — и «гыльгыль» — льды? Только сказочный лебедь — небесная птица, которая иногда прилетает на чукотские лагуны и озера, — мог спасти со льдины Айваналина...

Мелетко знал много случаев, когда льды увлекали с собой в море охотников на нерпу и когда льды уничтожали корабли и шкуны, а люди вы-

саживались на лед. Он помнит, как погибли «Нанук» и «Карлук» с американскими людьми. Он встречал капитана Бартлетта, — он перевез его на своем вельботе через пролив на Малый Диомид. Он хорошо знал, что почти все, кто рискнул итти по льдинам к берегу, — погибли.

Мелетко помнит, как из Америкэн прилетал самолет — хотел снять со льдины агентов купца Свенсена. Духи ледовитого моря оказались хитрее даже этих летающих людей из хитрой Америкэн, где делают такие хорошие ножи, винчестеры, патроны и прозрачные козырьки. Их самолет упал и зарылся в снег у Амгуэмы, и летающие люди превратились в лед. Как можно бороться с тем, что сильнее тебя?

Мелетко ходил по ярангам и злорадно смеялся, когда русский «летающий кит», как он прозвал огромный двухмоторный АНТ, целый день проплутав над торосами, вернулся в Уэлен и тоже упал, зарывшись в снег.

Но русские оказались крепче, чем америкэн кляуль — люди с того берега. Они не превратились в лед, они только переменили кожу с опухших лиц. Они на собаках съездили в Провиденье и оттуда прилетели вновь, на втором таком же самолете.

И вот они уже перехитрили духов моря — Мелетко сам видел из-за спин чукчей, молчаливо

прожевывая табак, как «летающий кит» вернулся со льдины и из его брюха вылезли русские женщины с двумя маленькими девочками.

Это был неприятный день для Мелетко. Правда, все чукчи были попрежнему почтительны, но в их взглядах он чувствовал скрытую насмешку — вот, мол, видишь, шаман, русские спасли женщин и ребятишек со льдины, а ты говорил...

Даже чукотские женщины оставили уборку в ярангах и, ковыляя на кривых ногах, неуклюжие, в толстых меховых керкерах-комбинезонах и в разноцветных камлейках, пришли к самолету посмотреть на русских женщин со льдины.

— Каккуме![35] — восклицали они, вкладывая в это слово всю силу своего удивления.

«Летающий кит» уже растаял в поднебесье. Мелетко, сплюнув комок табачной жвачки, тряхнул пустыми рукавами кухлянки и прошептал:

— Тагам ут Ванкарем.[36]

— Та-га-а-ам, — протянул Пеляуге. — И-и-ы...

Старики молча разошлись. Пеляуге должен был кормить собак и готовиться к поездке в Лаврентий. Вместе с другими упряжками он увозил туда женщин, спасенных со льдины.

Мелетко поплелся к Гемауге в лавку — там всегда народ.

На полпути он остановился около большой яранги, в которой помещалась школа. Молодой

учитель — сам почти мальчик, несмотря на мороз, сидел у входа и читал книгу. По ней он учил ребят. Это была «Гельг-Калькель» — «Красная грамота» на чукотском языке, напечатанная в далекой Москве.

Мелетко не любил учителя за то, что тот умел читать эту книгу и учил других, за то, что дети его любили больше, чем Мелетко, и за то, что к Мелетко он относился как к врагу.

Мелетко считал ниже своего достоинства смотреть на этого человека и потому стал смотреть на ребятишек, шевеля ввалившимися сухими губами. Но ребятишки не замечали его. Как угорелые, смеясь и крича, они носились по льду, подбрасывая ногами большой мяч, сшитый из кожи нерпы. Это старая и любимая чукотская игра, похожая на европейский футбол.

Внимание Мелетко привлекла другая группа ребятишек, что-то восторженно обсуждавших. Шаман подошел поближе и понял причину возбуждения. В средине группы стоял шестилетний красавчик Тэнмау — сын Гемауге. Его глазенки, как звездочки, сверкали из-под пушистой обшивки капюшона короткой кухлянки. Он держал в руках точную модель только что улетевшего самолета. Два жестяных пропеллера жужжали на свежем ветру.

— Тэнмау, — прошипел старый шаман, ста-

раясь ласково улыбнуться, — хороший сынок своего отца, ты сам сделал такую штучку? Каккуме!

— И-и-ы, — тихо ответил Тэнмау, и глаза его потускнели. Он опустил игрушку вниз, пропеллеры, звякнув, утихли. Мальчик, внезапно растолкав друзей и сверстников, пустился бежать к своей яранге. Только приблизившись к ней, он снова поднял самолет навстречу ветру.

За Тэнмау убежали и все остальные ребята. Мелетко остался один, как ворон на черепе дохлого моржа.

• • •

Самолет между тем уже пролетел над каменистыми отрогами мыса Сердце-Камень и стал «резать» напрямик через Колючинскую губу, на мыс Онман.

В воздухе спокойно. Ляпидевскому тепло под пыжиковой маской. Петрову нечего делать — маршрут точный, видимость прекрасная. Ляпидевский замечает, что Петров поет. Он видит, как ритмично качается его голова в ушастой шапке. Песни не слышно — человеку не спеть ее громче двух мощных моторов.

Впереди зачернел среди льдов маленький клочок земли и камней — остров Колючин.

— Неприятное место, — подумал Ляпидевский.

Здесь снежный шторм смял самолет Красинского, здесь неподалеку зимовала во льдах «Вега» Норденшельда, здесь, наконец, «Челюскин» в октябре попал в ледяной плен, потерял десять дней, быть может во многом решивших его судьбу...

Решив оставить остров справа, Ляпидевский слегка повернул машину, и вдруг смутная тревога охватила его. Он уловил какой-то посторонний хрипящий звук в ровном и чистом реве левого мотора. Услышали этот хрип и механики. Куров, сняв шапку, пополз внутрь крыла к моторной установке, но опоздал — мотор оглушительно загрохотал. Казалось, он отрывается от самолета.

Летчик не может тратить много времени на размышления, его решения должны быть молниеносны.

Рука Ляпидевского легла на контакт — мотор выключен! Неподвижные застыли пропеллеры. В мгновенно наступившей тишине все услышали, как скрипел зубами Куров.

— Левый мотор, — это его мотор. Почему же он сдал в такой ответственный момент?

По инерции самолет несется вперед, с легким свистом разрезая воздух.

Планировать как можно дольше, пока глаза найдут среди торосов хоть какую-нибудь площадку. Этой задаче Ляпидевский подчиняет всю свою волю, все свое искусство пилота. Но пере-

груженный самолет опускается все ниже и ниже. Одна мысль переполняет мозг Ляпидевского:

— Спасти людей и машину во что бы то ни стало! Спасти людей и машину! — и до отказа поднимая рули высоты, он силится дотянуть самолет до виднеющейся яркой полосы льда, где торосов как будто меньше...

Лыжи коснулись снега, раз... другой... и вот уже самолет плавно несется по гладкому снегу... Заструга — толчок, самолет подпрыгивает... снова заструга — снова резкий толчок, самолет кренится набок, чертя снег крылом, и наконец, останавливается. Сорвав очки и маску, Ляпидевский первым выпрыгивает на снег и, осмотрев шасси, бормочет:

— Нормально, чорт возьми, нормально... Подогнулась ферма шасси и... застряли, кажется, надолго... Ведь и мотора нет...

— Одним лагерем стало больше, — невесело шутит Петров, — лагерь Ляпидевского появился. Что ж, друзья, будем ждать спасителей или будем спасаться сами?

— Штурман, определите наши координаты, а я займу ваше место в «моссельпроме», чтобы разжечь примус. Времени, кажется, хватит, чтобы закусить, — решает как всегда рассудительный Конкин.

Механики между тем сняли капоты с мотора и

засуетились подле него, ища причину его каприза. Уж что-что, а моторы никогда не подводили. Даже в морозы более крепкие, чем сегодня, они работали уверенно и четко. В чем же дело?

— Нужен новый коленчатый вал, — мрачно сообщает Куров.

— Нормально, — ворчит Ляпидевский. — Я думаю, что пока я дойду пешком до ближайших яранг, а оттуда съезжу в Ванкарем, вы сумеете поставить машину на ноги. Коленчатый вал есть если не на Северном, то в Уэлене.

Петров доложил, что они находятся в шести милях к норд-весту от Колючина. Но Колючин, по его мнению, мертвая глыба камня и итти туда не-зачем. Следует переночевать у самолета, а утром пробираться к берегу материка, к той черной полоске, что виднеется за торосами.

Петров вспомнил, что невдалеке от мыса Онман должно быть чукотское селение Пингопыльгин — всего три яранги, но, чорт побери, найдется же там упряжка, чтобы доехать до Ванкарема?

Примус шумел по-домашнему. Конкин, разогревая банки с мясом, ворчал что-то об отбивных и бифштексах.

Пока ели холодноватое мясо и грызли галеты, усевшись на брезенте под правым крылом, в чайнике на примусе таяли куски льда. Без чая Петров не мог жить.

И вдруг Конкин заметил человека.

Он мелькал среди торосов, приближаясь к «лагерю Ляпидевского» со стороны острова.

Все поднялись. Ляпидевский сделал несколько шагов навстречу. Он был рад нежданному гостю:

— Повидимому, яранги где-то совсем близко, — Ляпидевский знал, что чукчи дальше чем за пять-шесть миль от своего селения на охоту не ходят. Было видно уже, что это чукча — синяя камлейка, пушистый малахай, тонкие ноги плотно обтянуты штанами из нерпичьей шкуры, коротенькие плекоти[37] и снегоступы, за спиной винчестер...

Он смело подошел прямо к самолету и тихо произнес:

— Этти!

— Этти, этти! — улыбаясь, ответили пилоты.

— Ты откуда? С берега? Или ты с Колючина? — спросил Ляпидевский.

Чукча очень охотно сообщил, что он с Колючина и что там живут чукчи — всего семь яранг.

— Чукчи, — рассказывал он, — «тиуйниркен» — охотники. Конечно, есть и «эттен»[38] и «ургор».[39] Он видел, как льды Колючинской губы тянули к себе самолет. Он думал, что самолет упал и людям «камак» — конец, и вот он пришел. Он очень старательно и несколько раз повторил свое имя, прежде чем пилоты усвоили его — Увахатхыргин.

Его угостили мясом, галетами и чаем, а потом помощник Курова, юный моторист Гараськин, пошел с ним на остров.

В синем небе уже ярко горели звезды, когда к неподвижному самолету пришли три упряжки собак...

• • •

Ляпидевский проснулся рано. В юроунге[40] нестерпимо жарко. Рядом спят на оленьих шкурах Конкин, Петров и Руковский. Куров и Гараськин где-то в другой яранге.

В юроунге тесно. Головой к пологу спит хозяин яранги — островной шаман. В ногах у него над испорченным американским будильником висит огромный бубен и шаманские запястья. Полуголое тело шамана блестит в трепетном свете двух жирников — плошек, наполненных моржовым или нерпичьим жиром с фитилем из крученого мха. Рядом лежат ребятишки.

В юроунге нет только хозяйки. Она ушла к яме, где хранится копальхен, — за мясом на завтрак семье. Но вот полог приподнимается, и она на четвереньках вползает в юроунгу, держа в зубах вонючее мясо. Она кладет его в таз, над жирником вешает чайник со льдом и снова раздевается догола, оставаясь только в узкой набедренной повязке.

На перекладинах у потолка висят заботливо вывернутые и осмотренные ею плекоти гостей, их шапки и рукавицы. Сейчас она достанет иглу и нитки из оленьих жил и старательно зашьет все дырки, которые удастся найти. Таков закон гостеприимства...

Ляпидевский одевается и выползает из юроунги. Хозяйка молчит, она не может говорить с гостем. Снаружи его сразу окружают собаки — поджарые, остромордые, короткоухие рабочие псы.

Скоро взойдет солнце. Уже предрассветные полосы сияют на востоке. Луна струит бледный, но яркий свет. Тихо. Даже псы молчат и только вертят головами, часто зевают и виляют пушистыми хвостами.

Ляпидевскому пора ехать — надо скорее быть в Ванкареме. Там несомненно уже встревожены их исчезновением.

Он возвращается в юроунгу и, показывая на спящего хозяина, говорит чукчанке, немилосердно коверкая слова:

— Ургор... эттен... тагам... уэльтхырен... Ванкарем... Буди скорее, тетка, своего старика.

— И-и-ы... — тянет хозяйка и начинает тормошить шамана.

Тот мычит, поднимается и осовело смотрит вокруг.

— Нарта тагам! — кричит ему Ляпидевский.

— И-и-ы, — кивает тот, тянется к чайнику и залпом отпивает из него добрую половину. Кряхтя и сморкаясь, он одевается и вылазит из юроунги. Нарта будет.

Ильниктен — молодой каюр. Хорошее коричневое лицо Гайаваты.

Он назвал себя комсомольцем, потому что он был в Уэлене и знает Туккая. Ляпидевскому Туккай тоже хорошо известен. Туккай сейчас поехал к оленным чукчам — к чаучу — рассказывать о несчастье с челюскинцами, чтобы оленеводы дали для них оленей.

Ильниктен рад, что он повезет в Ванкарем летчика, но он очень недоволен, что летчики остановились в яранге шамана. Он говорит, что этот злой человек хуже паршивой собаки — ленивый, грязный и жадный.

— Ну, откуда мне было знать? — несколько смущенно смотрит Ляпидевский в пылающие глаза Ильниктена...

Два дня пути до мыса Онман собаки прошли хорошо размеренным, честным собачьим бегом, низко опустив головы и высунув языки.

Но чем больше они приближались к Ванкарему, тем беспокойнее становился Ильниктен. Он качал головой:

— Навэрна скоро пурга будет.

...И она набросилась на них, когда до Ванкарема оставалось каких-нибудь пара часов езды.

Ильниктен кричал на собак:

— Кух, кух, нарара-рать-рать!..

Но собаки сбавляли ход шаг за шагом. Они брели по шею в снегу.

Летчик и каюр, закрывая лица от снежного вихря, поднялись с нарты и помогали собакам тянуть ее, но не прошло и полчаса, как собаки, не слушаясь ни ласк, ни угроз, отказались итти и легли, свернувшись клубочками, хвостами к ветру. Их моментально занесло снегом.

Летчик и каюр сели на нарту, тесно прижавшись друг к другу, спиной к ветру. Накрылись одеялом. Очень скоро они согнулись под тяжестью снега. Его намело так много, что образовался снежный холм.

— Не надо шевелиться и не надо спать, — кричал Ильниктен летчику, стараясь перекричать вой пурги. — Только разгребай снег, чтобы дышать. Так всегда делают в пургу чукчи.

Ночь тянулась мучительно медленно. Было тепло, непреодолимо хотелось спать, но рассудок предостерегал от этого коварного сна. Чтобы не заснуть, Ляпидевский то-и-дело больно щипал свою обледеневшую бородку, стараясь также отвлечь себя от сна мыслями о милом и далеком.

Мучила еще неизвестность — как долго про-

длится пурга. Она может прекратиться внезапно, сию же минуту, но она может бушевать и три и четыре дня, не ослабевая. Ляпидевский спросил каюра:

— Долго ли будет пурга?

Тот прокричал в ответ:

— Навэрна нет, этот ветер зюйд, долго бывает только с оста, с норд-оста.

Ильниктен оказался прав — пурга утром стихла, и они стали выбираться из снежного завала. Утопая по пояс в необычайно глубоком и рыхлом снегу, они разыскивали места, где лежали собаки. Это не было трудной задачей — собак легко находили по отверстиям в снегу, из которых шел пар. Каюр и летчик, разгребая руками снег, вытащили собак одну за другой. Собаки встряхивались, неистово зевали и повизгивали.

Ильниктен достал из кожаного мешка, привязанного к нарте, кусок моржатины, разрезал его на равные куски и разбросал собакам, а один мелко нарезал и съел сам. После этого тронулись в путь — мыс Ванкарем уже был виден.

Три часа потратили они на то, чтобы пройти шесть километров до фактории. Сидеть на нарте было нельзя — она вязла в глубоком снегу. Собаки часто останавливались и, высунув языки, поглядывали назад. Приходилось итти около нарты, держась за ее дужку.

Было морозно, и снова поднимался острорежущий северный ветер. Но Ляпидевскому день казался жарким. Весь мокрый, точно из бани, он задыхался. Шапку он снял давно, и мокрые от пота волосы примерзли к его лбу.

Совсем обессиленные они добрели до маленького домика фактории.

Летчика встретили радостными воплями:

— Жив! Все живы?..

Наперебой рассказывали, что еще вчера на поиски к Колючинской губе двинулись собачьи упряжки. Искать решили до Колючинской губы. Из Уэлена передавали по радио, что чукчи вплоть до самого Нескана — селения, расположенного подле Колючинской губы, на восток от нее, видели самолет. Узнав, что машине необходим только ремонт, обрадовались еще больше.

Не только в Ванкареме беспокоились о судьбе Ляпидевского — встревожилась было вся гигантская Страна советов. Интересовался им весь мир, но знал о спасении Ляпидевского пока только Ванкарем.

Радист Женя Силов, пришедший в Ванкарем пешком с зимующего у мыса Якан парохода, яростно проклинал пургу, — она сломала радиомачты и сорвала антенну. Ванкарем вызывали из Уэлена и с Северного, но Ванкарем молчал. И только глубокой ночью Людмила Шрадер,

склонившая на стол стриженную голову в наушниках, услышала сквозь тяжелую дремоту настойчивый писк из Ванкарема.

Принимая радиограмму, она, как всегда, старалась притушить волнение сильными затяжками папиросы, но не выдержала. Когда на листок перед нею легло последнее слово, Люда вскочила и побежала, распахивая двери во все комнаты, где крепко спали усталые люди. Она кричала:

— Ляпидевский нашелся, нашелся! У него просто вынужденная посадка около Колючина. Он в Ванкареме, в Ванкареме! Слышите — Ляпидевский в Ванкареме!

Люди вскакивали с постелей, недоверчиво поглядывали на Люду и просили показать бланк.





XII

ПОЗАВЧЕРА „Смоленск“ подошел к устью реки Апуки. Он стоит теперь на рейде милях в двух от берега.

Дует сильный норд-ост, но на рейде, защищенном Олюторским мысом и ледяной грядой, преградившей путь пароходу в фиорд Провидение, — спокойно.

На имя Каманина из Москвы принята радиограмма:

По полученным сведениям самолет Ляпидевского при полете на Ванкарем сделал вынужденную посадку. Подробности неизвестны. По-видимому, нельзя ожидать полетов Ляпидевского в ближайшие дни. Сообщая это, правительство указывает вам на огромную роль, которую должны сыграть ваши самолеты. Дорог каждый день. Примите все меры к ускорению прибытия ваших самолетов в Уэлен. Считаем целесообразной высадку у Апуки и немедленный полет в Уэлен.

Куйбышев.

Мы готовы.

Все пять самолетов уже выгружены с парохода и стоят среди низеньких домиков поселка. Сборку их закончили в один день. Механики еще раз, прежде чем одеть капоты, тщательно осматривают и проверяют приборы.

Все устали, но никто даже не думает об отдыхе. Предстоит проба машин в воздухе. На завтра назначен вылет в Уэлен.

Рабочие рыбоконсервного завода, зимующие при заводе, активно помогают нам во всех работах. Немалую помощь оказывают и туземцы-коряки, приезжающие на собаках и оленях из тун-

дры, чтобы посмотреть на самолеты и воздушных людей.

Осторожно по сугробам выводим самолеты за поселок на заснеженный лед реки.

Первым пробует свою машину Каманин. Ее легко отличить от других по антенне, растянутой на трех коротеньких радиоколышках, укрепленных на верхней плоскости.

Самолет легко бежит и быстро взмывает в воздух.

Каманин выводит его из одного положения в другое — проверяет управление.

Пристально следят глаза пилота за работой приборов. Уши настороженно вслушиваются в шум мотора.

В задней кабине стоит на коленях штурман Матвей Шелыганов. Он поведет нас через неизвестные ни ему, ни нам пространства этой огромной страны, уже расстилающейся под самолетом. Снежные равнины с пересекающими их волнами холмов кончаются у Олюторского мыса. К северо-востоку от него начинается высокий горный массив Пал-Пал. Темные, оголенные ветрами вершины гор поднимаются из ослепительно белого снега.

Шелыганов проверяет компас и радиоустановку. Он вызывает радистов «Смоленска», крохотной букашкой чернеющего на рейде:

«Тире-две точки, тире-точка... высота семьсот метров, путевая скорость сто сорок пять километров, температура воздуха минус двадцать три. Мотор работает хорошо, самолет отлично слушается рулей, идем на снижение...»

Машину удалось опробовать только Каманину. Едва он успел сесть и подрулить в ряд с остальными, как погода изменилась. Ветер сорвал снег с холмов и понес его на самолеты, на поселок, на море и пароход.

Начиналась пурга — наше первое северное крещение.

Под напором все усиливающегося ветра закипела лихорадочная работа. Все бросились крепить самолеты и закрывать кабины чехлами. Обычно пустяковая работа оказалась теперь невероятно трудной. Ветер бешено трепал чехлы, срывал и уносил их.

Двенадцать механиков и мотористов остались на берегу, пилоты же и все остальные вернулись на корабль.

Разыгрывалась волна, и мы все изрядно промочили свои комбинезоны, кухлянки и меховые сапоги, прежде чем добрались до баркаса, буксируемого крохотным катером, спущенным с борта «Смоленска».

Пароход исчез в снежном вихре. Не успел катер проплыть пятнадцать—двадцать метров, ис-

чез и берег. Водитель катера — младший штурман Алеша Буданцев — потом весьма убедительно и красноречиво доказывал Шелыганову, что он нашел «Смоленск»... по компасу.

Барометр падал, но никто не хотел этому верить. То-и-дело кто-нибудь подходил и щелкал по стеклу — авось поднимется.

Радист принес метеосводку, и все набросились на эту экономно исписанную синюю бумажку. Ее громогласно и почти вдохновенно начал читать Пивенштейн:

„*Уэлен.* Температура — минус 25. Облачность среднего яруса — 10 баллов. Ветер — зюйд-вест, полметра в секунду. Видимость — 35 километров. Лед торосистый, 10 баллов.

Лагерь Шмидта. Температура — минус 21,9. Ветер — зюйд, четыре метра в секунду. Видимость — 15 километров.

Ванкарем. Температура — минус 25. Ветер — норд-вест, четыре-пять метров в секунду. Видимость — до 25 километров.

Анадырь. Температура — минус 22. Из-за мятели состояние неба различить нельзя. Ветер — вест-норд-вест, девять метров в секунду. Видимость — менее 200 метров.

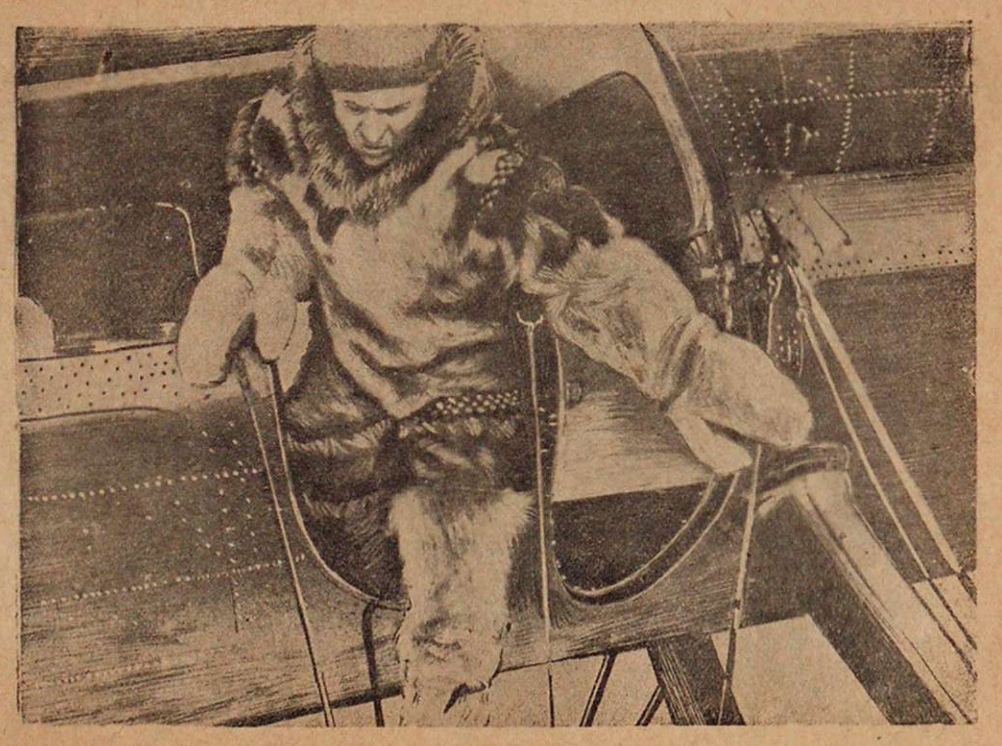
Мыс Северный. Температура — минус 28. Ветер — норд-вест, шестнадцать метров в секунду. Видимость менее 500 метров. Облака снежные на высоте 500 метров".

— Да... погодка, — совсем тихо закончил Пивенштейн. — Это к нам анадырский циклончик подкатился. Но будем оптимистами, — снова оживился он. — Я предсказываю на завтра идеальный день...

Однако его предсказание не избавило нас от пурги. И на завтра пурга целый день продержала нас на пароходе. Была большая зыбь, и вокруг неожиданно появились льдины. Налетая вместе с волной на борт корабля, они скрежетали по его обшивке и со звоном крошились.

Берега попрежнему не видно. Весь день работали в трюмах, заканчивая приготовление необходимых запасов.

Это будет полет в неизвестность. На наших картах намечена только линия берега и неуверенно заштрихованы высоты. Совсем редкими точками лежат жилые места. Только в Провидении и Уэлене нас ждет бензин, продовольствие и необходимые на всякий случай авиационные запасы. Но до Провидения надо преодолеть пятьсот километров над пустынными дикими горами и почти столько же (четыреста семьдесят километ-



10 апреля. М. Слепнев после прилета из лагеря выходит из кабины „Флейстера“.

ров) над чистой водой или битыми льдами Анадырского залива.

Мы полетим все вместе — пять самолетов. Каманин — ведущий. Штурман у него на борту, но каждая машина должна быть готова к самостоятельному полету — кто знает, что может случиться?

С помощью Молокова еще и еще раз проверяем список снаряжения для каждой машины. Надо предусмотреть все, но и не брать ничего лишнего, — каждый килограмм экономии даст нам лишний литр бензину.

Мы стремимся взять бензину как можно больше: кроме полных баков на каждом самолете еще по пятнадцать шестнадцатилитровых бидонов с бензином и один бидон со спиртом. Каждая машина берет месячный запас продовольствия на троих — галеты, консервы, масло, шоколад, сахар, три спальных мешка (кукуля), — их нам привезли в подарок коряки; ящик запасных инструментов; примус и паяльные лампы; по запасной лыже и винту; охотничье ружье, ракетницу, ведро, лопату и маленький охотничий топорик. По полторы тонны должны поднять на высоту до трех тысяч метров и пронести над этими неизведанными просторами наши самолеты.

Мы долго спорили, — стоит ли брать овальные

обтекаемые ящики грузовых парашютов, которые свободно подвешиваются под нижнюю плоскость. Решили взять. Мы поместили туда все бидоны запасного горючего и кукули.

Молоков высказал мысль, показавшуюся нам чрезвычайно смелой:

— Не мешает иметь в виду эти ящики, — говорил он, — как запасную «жилплощадь». В каждом из них можно при необходимости провезти по человеку.

Вечером Каманин объявил окончательный список экипажей самолетов.

Летят пятнадцать человек.

В каждой машине трое: пилот, бортмеханик и моторист.

У командира вместо моториста штурман, он же радист. Три человека — это минимум людей, нужных для того, чтобы запустить мотор на вынужденной посадке — пилот в кабине, двое у винта.

Итак:

<u>Ведущий</u> — *Каманин*, *Анисимов* (бортмех.), *Шелыганов*

<u>„Синяя двойка“</u> — *Молоков*, *Пилютов* (бортмех.), *Девятников*

Третий самолет	*Пивенштейн* *Грибакин* *Кулыгин*
„Красная четверка“	*Бастанжиев* *Романовский* *Разин*
Пятый самолет	*Демиров* *Осипов* *Стахов*

• • •

Радостное это было утро.

Зачинался тихий и солнечный день. Зыби нет, рейд покрыт зеркальным, тонким, как слюда, ледком.

Воздух изумительно чист и прозрачен. Далекие холмы, мыс и поселок сверкают ослепительной белизной на фоне густой синевы неба. Над рейдом стаями носятся крикливые бакланы. Они садятся на воду, пробивая ледок, и сидят целыми толпами в легком мареве поднимающихся испарений.

Одевшись, как для полета, спешим на берег.

Радостью сияют лица... но тем сильнее разочарование. Едва ступив на берег, мы поняли, что сегодня не улетим. Встретивший нас летнаб сообщил, что самолеты окружены буквально горами снега и занесены им по самые центропланы. И

что самое удивительное — снег этот вовсе не рыхл и сыпуч, а затвердел так, что хоть плиты из него выпиливай.

— Из-под этого снега самолеты быстро не выручить, — пугал нас летнаб. — Полдня не меньше отнимут раскопки, а сколько времени потребуется еще на запуск моторов? Надо же кроме того и проверить машины в воздухе.

На штурм снежных гор бросились с ломами, топорами и крепкими лопатами.

Глыба за глыбой оттаскиваются в сторону...

И вот уже машины подхвачены десятками рук и вытащены на ровное место.

В «гончарках» кипит уже вода, подогрето также масло для картера.

Наша машина первой поднимется в воздух для проверочного полета. Она готова к перелету — даже парашютные ящики и запасная лыжа на месте. Пивенштейн хочет испытать ее с полной нагрузкой.

Мотор запускается с первого рывка амортизатора.[41]

Герман Грибакин доволен, довольны Пивенштейн и я.

Пивенштейн поднял вверх большой палец. Это знак Герману — «можно снять чехол с радиатора, сейчас буду рулить на взлет, мотору верю».

Потом новый знак — «людей в кабину».

Мы не летим — мы нужны при запуске других моторов. В кабину устраиваем двух коряков — Айека и Айнавтагына. Айнавтагын лезет смеющийся, довольный — сбылась мечта его жизни, будет о чем рассказать в родном совхозе.

Айнавтагын — пастух оленьих стад. Грамотный парень. Отличный рисовальщик — доказательство тому в моем блок-ноте. Услышав, что в Олюторку привезли самолеты, он пешком пришел за сто пятнадцать километров, чтобы полетать, узнать, что это за штука — самолет.

Четыре дня Айнавтагын жил около наших самолетов вместе со всеми, кто оставался на берегу, и настойчиво требовал полета. И он летит.

Долговязый Айек — блестящий каюр, с которым Каманин утром объезжал всю равнину, осматривая, нет ли заструг, — уже в кабине. Айнавтагын лезет туда же, со смехом хватаясь за свой малахай, — вихрь из-под винта срывает его с головы.

— Самолет делает пургу, — хохочет он, стоя на коленях в кабине. Ворот его русской рубахи расстегнут, и он подставляет вихрю голую коричневую грудь. Я вскакиваю на подножку и укутываю шарфом шею и грудь Айнавтагына. Он смеется, но уже надо мною — ему я кажусь чудаком.

— Алло, Боря, все готово...

Пивенштейн кивает головой и дает газ. Само-

лет бежит по выбранной Каманиным и Молоковым дорожке для взлета и плавно отрывается от земли.

— Хорошо, — невольно срывается с наших губ, и мы весело бежим к «синей двойке» Молокова.

Вот уже и старик наш в воздухе...

...Итак, завтра утром мы, наконец, летим к челюскинцам.

Метеосводка не вызывает опасений — циклон, повидимому, прошел и можно надеяться, что два-три дня будет летная погода. Этого достаточно, чтобы быть в Уэлене, и мы, что уж скрывать, подсчитываем, кому больше удастся поработать.

Пыл немного охлаждает Коля Лукьянов. Этот человек четыре года провел в скитаниях по тундрам, морям и рекам, по диким буранным равнинам и горам Чукотки.

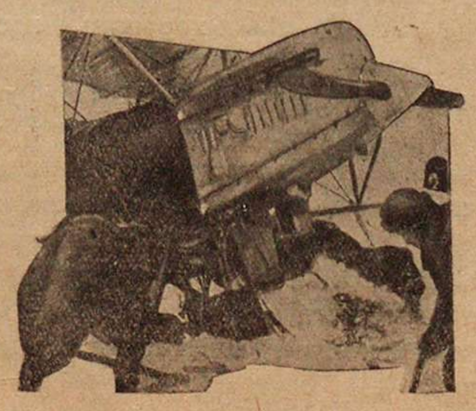
Северные люди немножко угрюмы и не склонны к многословию, но в Лукьянове север не остудил пылкого темперамента южанина. Этот неутомимый и всегда веселый курчавоголовый человек в гимнастерке с зелеными петлицами и с орденом Красного знамени на груди побывал в самых глухих углах далекой Чукотки, помогая чукчам строить новую жизнь. Лукьянов — гроза любителей легкой наживы и авантюристов, пробирающихся на Чукотку в надежде «подработать» на околпачивании туземцев.

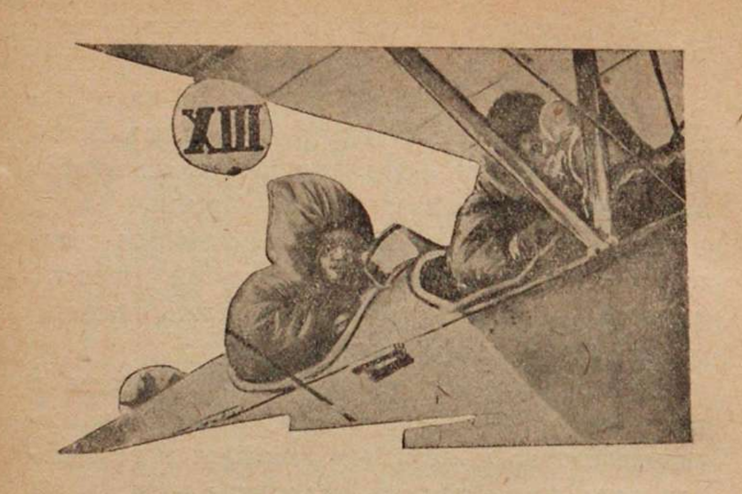
— Поостыньте малость, не торопитесь, — улыбаясь, говорил он нам. — Уж я знаю здешнюю погоду. Беспутная она здесь какая-то, надо всегда быть готовым к худшему. А пролететь здесь тысячу километров — это, уверяю вас, стоит всей воздушной трассы Владивосток—Москва.

Он долго сидел вместе с Шелыгановым с потухшей папиросой во рту над картой перелета, отмечая «напамять», где можно делать посадки, где и сколько есть чукотских яранг.

Моряки устроили нам скромные проводы в кают-компании — омлет и чай. Каманин как всегда лаконично и спокойно рассказал о готовности к полету и о том, что нас ждет в пути.

В десять вечера уже все разошлись по каютам. На корабле тишина — все берегут покой своих летчиков перед трудным полетом...





МЫ ЛЕТИМ хорошим, настоящим строем.

Шелыганов выстукивает сообщение для Москвы о благополучном начале нашего перелета. Он сообщает о том, что все пять машин в воздухе, что Бастанжиев, у которого на старте в Олюторке не запускался мотор, нагнал нас и включился в строй.

Наша машина летит рядом с «синей двойкой» Молокова. Я вижу его коричневую оленью шапку и очки.



М.Т. СЛЕПНЕВ

В задней кабине его самолета то-и-дело поднимается голова Пети Пилютова. Он, повидимому, так же беспокойно ведет себя в этой тесной, открытой кабине, как и наш бортмеханик Герман Грибакин. Этот тоже — то стоит на коленях, неуклюже ворочаясь в своем замасленном и тяжелом овчинном комбинезоне, то встает и свешивается за борт. Он наблюдает за приборами и время от времени, перегибаясь через козырек, пытается что-то кричать Пивенштейну.

Беспокойство Германа мне понятно — на нем лежит ответственность за всю техническую часть нашего самолета. Он должен обеспечить безотказную работу мотора, от его бдительности и знания дела зависит успех перелета — судьба и наша и людей, ожидающих нас там, на льдине.

А беспокоиться есть отчего. Термометр показывает тридцать семь градусов ниже нуля по Цельсию и, кроме того, прямо в лобовой капот мотора бьет встречный нордовый ветер со скоростью двадцать четыре метра в секунду, отчего наша скорость относительно земли не больше девяноста пяти километров в час, хотя моторы работают на полных оборотах. Мороз такой, что напугал бы любого летчика на самолете с наисовершеннейшим мотором воздушного охлаждения, а ведь на нашем самолете мотор с водяным охлаждением! Не скует ли мороз водяные труб-

ки? Не замерзнет ли магистраль, питающая мотор горючим? Есть отчего беспокоиться и Герману, и пилоту, да и мне...

Полет в Майна-Пыльгин, очевидно, затянется. Я полулежу, полусижу, притиснутый беспокойным Грибакиным, иногда улучая момент, чтобы переменить положение отекающих ног. Пальцы на них, несмотря на торбаза и чижи — меховые чулки, покалывает мороз. Вихрь от винта, усиленный сильным ветром, бьет в укутанное лицо. Хочется, как обычно при полете, спать, но желание видеть проплывающую под нами страну разгоняет сон.

Смотрю осторожно, чтобы вихрь не унес очки, и мысленно делаю поправки на карте, исправленной Колей Лукьяновым.

Справа море — темная полоска чистой воды и мелкий, кажется, блинчатый лед. Слева острые, зубастые горы, а за ними Вилюней и его отважные обитатели.

Но что это на берегах Хахтырки? Домики? Ну да, конечно домики — круглые северные домики — один, два, три, четыре, пять... А ведь Лукьянов, избороздивший Чукотку вдоль и поперек и лишь год назад побывавший в этих местах, вчера говорил, что они совершенно пустынны!

Вспоминаю, и в памяти всплывает газетное сообщение — да ведь это новая культбаза, о кото-

рой Лукьянов, конечно, и знать не мог! Тут живут врачи, учителя, здесь заготовлены товары для вилюнейских чукчей... Здесь, на далекой Чукотке, бурный расцвет Советской страны находит свое подтверждение.

Домики исчезают, растаяв в пространстве. Пустынно внизу — каменные отвесы берегов, полоска воды и лед, сверкающий на горизонте.

И снова на берегу видны квадратные домики — это, вероятно, летние рыбалки. А вон там, в глубокой долине, в междугорье, огромное оленье стадо, словно мак, рассыпанный по снегу. Медленно исчезает стадо, его закрывает новая горная складка...

Небесный простор ясен и чист. Лишь изредка мы пронизываем несущуюся навстречу пряжу облаков.

Ноги мои окончательно отекли. А Грибакин все ворочается, вслушиваясь в звуки мотора. Временами он склоняется надо мной — сквозь очки я вижу его как всегда спокойные глаза. Он снимает рукавицу, там у него дорожный шоколад, отламывает кусок и половину любезно сует в мой рот. Во время этой процедуры я успеваю взглянуть на доску с приборами — чорт побери, да ведь мы летим уже пятый час! Проклятый ветер — уж не снесло ли нас с курса?

Однако Каманин спокойно ведет все машины.

Он уверен в Шелыганове, — вместе они делали не мало полетов и над таежными горами Хингана, Сихотэ-алиня, и над морскими просторами, и над ханкайскими равнинами.

Майна-Пыльгин заметил Грибакин. Он перегнулся через козырек и показал Пивенштейну вниз, под правую плоскость, а потом толкнул и меня. И мы снова не узнали карту. Внизу, на берегу моря, целый поселок — более десяти домов. Один с высокой заводской трубой. А в сторону от поселка на целый километр разбежались яранги.

Самолет Каманина качнулся с крыла на крыло, знак — «иду на посадку», и мы стали описывать круги, тревожась за командира. Он обязан первым попробовать этот наш случайный аэродром на берегу Берингова моря.

Пивенштейн в круглое зеркальце, предназначенное для обзора задней полусферы, находит мои глаза и качает головой, показывая вправо, потом вниз. По выражению глаз я понимаю летчика. Справа Анадырский залив — видна его чистая вода сквозь необозримые клубы тумана, застилающего горизонт. Понятно, почему делаем посадку здесь.

Я силюсь взглянуть вниз глазами пилота, который должен посадить здесь машину, и теряюсь... Ну как тут благополучно сесть, если даже не вид-

но, куда садиться, так ослепительно блещут снега. Конечно, там, внизу, есть и заструги, возможны бугры и ямы, но сейчас это все сливается в одну ослепляющую плоскость.

Мы видим, как Каманин совсем низко идет бреющим полетом — он пытается сбоку всмотреться в место посадки. Мы снижаемся также до ста метров и только теперь различаем заснеженное русло реки Майна. Видим, как к реке от домов бегут люди. Кто-то в шинели вырывается вперед и вонзает в снег большой черный флаг. Он разворачивается и бьется по ветру.

Каманин сел, кажется, благополучно. Пивенштейн отмечает это улыбкой в зеркальце. Садятся за ним Молоков, Демиров, Бастанжиев. Очередь за нами. Я чувствую, как машина парашютирует с приглушенным мотором.

В момент посадки всегда как-то немного прихватывает дыхание. Вот костыльная лыжа коснулась земли, потом опустились передние... самолет подпрыгивает раз-другой, и вдруг... Пивенштейн дает полный газ и дергает на себя ручку — мы снова взмываем вверх. Что такое?

Герман наклоняется ко мне и кричит:

— Чуть не гробанулись... Вместо русла реки сели на берег, а он крутой, так бы и скапутились...

Я в ответ пытаюсь храбро улыбнуться стянутыми морозом губами.

Со второго захода нам, однако, удалось сесть более удачно, но все-таки слишком далеко от места, к которому подрулили остальные машины. Чтобы гарантировать себя от капотирования, мы с Германом выскакиваем из кабины и вцепляемся обеими руками в стабилизатор.[42]

Это очень тяжело — успевать за самолетом, держась за его хвост. Снежный вихрь бьет в лицо, ноги так трудно переставлять в глубоком снегу... Изо всех сил, стиснув зубы, держим прыгающий хвост. Тело покрывается испариной.

Остается полкилометра, но я не выдерживаю — руки соскользнули, и я падаю в снег. Задыхаясь, встаю, поворачиваюсь спиной к ветру, оторвав петли воротника, освобождаю шею и спешу за самолетом.

Вот, наконец, он подошел к остальным, винт останавливается, но снежный вихрь почему-то продолжается... Останавливаюсь, смотрю вокруг и начинаю понимать. Мы сделали действительно удачную посадку — ведь это же метет поземка.

Нас приветствуют два десятка людей — это все население поселка.

Здесь пограничники, врач со своими помощниками из больницы, построенной прошлой осенью для чукчей обществом Красного креста, и зимовщики — рабочие рыбоконсервного завода, работающего только летом, когда идет лосось.

Хотя мы и «свалились с неба», но, оказывается, нас здесь ждали. Зимовщики знали фамилии — Каманин, Молоков, Пивенштейн.

Мы сделали большие глаза, — нам ведь говорили, что тут нет радиостанции. Но объяснилось все весьма просто — здесь есть радиолюбители. Маленький черный ящичек — любимец всего поселка. Каждый вечер вокруг него собираются, и он рассказывает голосом хабаровского диктора замечательные новости.

Поземка усиливалась. Небо попрежнему чистое, почти безоблачное, но низом, метра четыре над землей, косыми стрелами сечет чукотская метель.

Мы не теряем времени. Из бидонов запасной бензин перелили в баки. За пятичасовой перелет каждый мотор сожрал уйму бензина. Воду и масло из мотора слили в пустые бидоны.

Пришлось повозиться с закреплением самолетов. Мы избрали американский способ — привязали к кольцам в крыльях веревки и концы их вморозили в лунки, вырубленные во льду реки.

Закончив работу, пошли в поселок. В больнице нас ожидал богатый, для здешних мест, ужин — прекрасная уха из лососины и густой чай с консервированным японским молоком. Молоко, правда, — дрянь, у нас было свое. Великолепное вологодское сгущенное молоко, но мы бо-

ялись обидеть любезного доктора Бешкарева. Пили японский суррогат.

Нас подробно допросили насчет речей на минувшем партсъезде, а также о ценах на ширпотреб в Москве и Хабаровске. Смотрели на нас жадно. За всю долгую и скучную зимовку мы единственные и неожиданные гости. Пришлось говорить. И много.

Мы ловили на себе ласковые и вместе с тем какие-то жалеющие взгляды. Скоро узнали, что по радио здесь слышали уже, какого мнения ученая заграница о возможности спасения челюскинцев самолетами. Это мнение разделяли многие из зимовщиков, — нас всех, как и челюскинцев, большинство из них считало обреченными на гибель. А мы — усталые, но веселые и бодрые, окрыленные первым успехом, удовлетворив законное любопытство хозяев, — устроились спать, все пятнадцать, вповалку на полу.

● ● ●

Потрескивая, горит свеча.

Многие уже спят. Бастанжиев, молодой и нежный, тихо смеется во сне... Кто-то вздыхает и бормочет. Шумный сон усталых людей.

Каманин не спит. Полулежа у свечи, он пристально рассматривает карту. Потом встает и поднимает свечу, всматриваясь в лица лежащих.



М. Слепнев (слева) и Билль Левари в Уэлене 10 апреля после прилета из лагеря Шмидта.

Молоков курит, вперив глаза в потолок, Шелыганов и я мечтаем с открытыми глазами.

— Я думаю, что над Анадырским заливом нам лететь нельзя, это излишний риск, — тихо говорит Каманин. — Имеем ли мы право рисковать?

Все молчат.

— Нет, — отвечает он сам... — Над заливом висит туман, можно обледенеть...

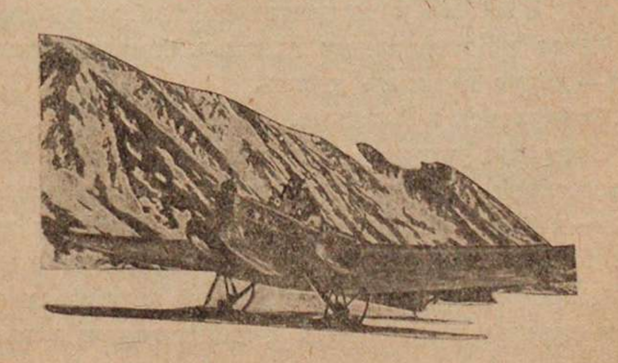
— Вполне, — соглашается Молоков. — Правильно — полетим через Анадырь...

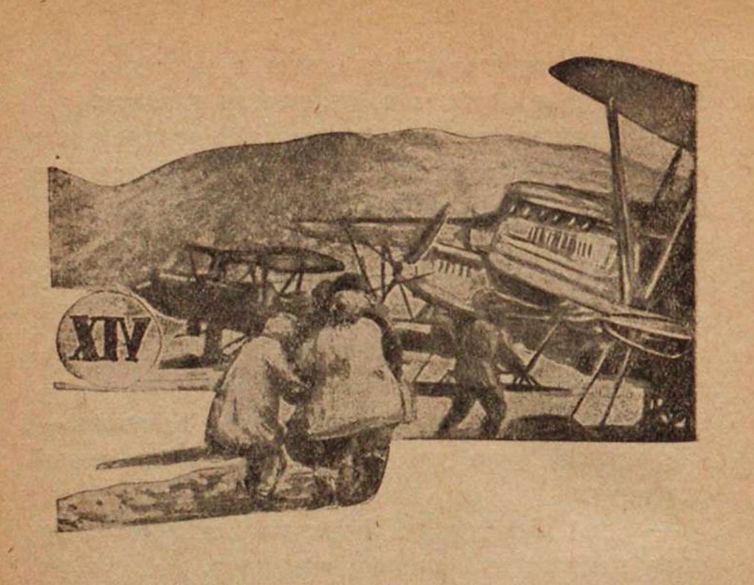
— На Ванкарем, — заканчивает Каманин. — Шелыганов, рано утром пересчитайте на новый маршрут.

— Есть! Пересчитаю. Курс на Ванкарем, кстати, у меня готов, товарищ командир.

— Хорошо, тем лучше. Проверьте еще раз. А теперь прошу спать. Спать!

Свеча гаснет...





НИКТО не принесет нам сводки о погоде. Метет по-вчерашнему поземка. Мороз усилился — минус тридцать девять.

Собираемся в Анадырь.

Воду для моторов греют в трех местах: красноармейцы — в своей крохотной баньке, повариха — в большой пустынной кухне завода и врачебный персонал — в больнице. Впрягшись в нарты, бредем по глубокому снегу, объезжаем все эти пункты и сливаем в бидоны горячую воду.

Укутав бидоны оленьими шкурами и летними красноармейскими дождевиками, тянем нарты к самолетам.

От нас валит пар, но стоит только остановиться на миг, чтобы перевести дыхание, как уже одежда, волосы и шлем обледеневают. Стоически переносим первые удары севера, — впереди их будет больше.

К полудню запущены и прогреты моторы четырех машин. Снова не везет Бастанжиеву. Три раза переменили воду, раз сорок вспотевший Борис кричал: «Контакт». Мотор изредка «чихал», раз-другой провертывая винт, и угасал опять.

Механики снова снимали капоты, с головой забирались в мотор, разыскивая причины очередного каприза. Это могло сорвать общий вылет, и мы, по предложению самого Бастанжиева, решаем лететь без него. Командир передал ему точную карту с маршрутом и наказал даже, устранив дефект в моторе, не лететь, пока не установится настоящая летная погода.

Пожав руки Бастанжиеву, Романовскому и Разину, разбегаемся по кабинам своих машин.

...Задача у нас нелегкая — мы должны перепрыгнуть через последние горы Пал-Пала, кончающиеся у моря мысом Наварина.

Ветер на высоте не менее сильный, чем вчера. Сразу же над горами попадаем в жестокую бол-

танку. Стрелка альтиметра временами обрывается сразу на двести метров. Я с удивлением наблюдаю, как машины Каманина, Молокова и идущего позади нас Демирова прыгают вверх и вниз — они то выше нас, то моментально оказываются ниже. Только прекрасная выучка наших пилотов, их огромное мастерство позволяет им вести самолеты, выравнивая их в провалах и выводя вновь на высоту. Эта акробатика тем более опасна, что под нами в двухстах-трехстах метрах медленно проплывают голые вершины гор.

Болтанка усиливается, и мы внезапно теряем горизонт — снежный вихрь бешено налетает на самолет. Еще несколько секунд, и мы перестаем видеть соседние самолеты. Мы одни в белом саване горной пурги.

Минуты тянутся невыносимо долго. Самолет ревет и стонет, как будто он вот-вот разлетится на части.

Мы видим, какие усилия тратит Пивенштейн на то, чтобы вести самолет на одной высоте. Он, очевидно, боится столкновения с другим самолетом.

Прошло тринадцать ужасных минут...

...Абсолютно неожиданно, без какого бы то ни было перехода, мы вылетаем в беспредельную ширь чистого неба. Впереди ни тучки и нет гор под нами. Внизу расстилается ослепительная белая тундра. Горы, а с ними и пурга остались позади.

Высунувшись из кабины, мы присматриваемся — где же самолеты?

Грибакин первым замечает каманинскую машину — она высоко над нами слева, а вон и Молоков — как далеко его отнесло...

Но где же четвертый? Где Демиров?..

Глаза слезятся от напряжения, но мы нигде не замечаем демировской машины.

Не удержал Демиров самолет в этом ужасном полете, и мы потеряли троих? Или, быть может, приняв молниеносное решение, он, ударившись грудью в пургу, сумел развернуться боевым виражем и уйти обратно?..

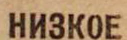
Каждого из нас мучает тревога о судьбе экипажа самолета, исчезнувшего в пурге над неведомым хребтом...

Подтянувшись ближе, крыло в крыло, три самолета несутся вперед, преодолевая встречный ветер. На горизонте гора Дионисия, а за нею лежит Анадырь...

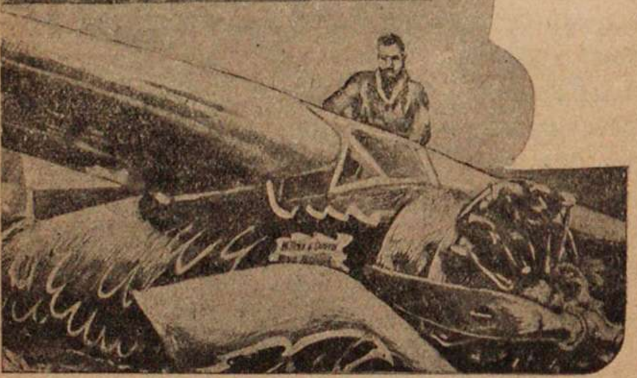




XV



НИЗКОЕ тяжелое небо, как свинцовая крыша. Идешь и кажется, вот-вот она тебя раздавит.



На улице пусто, как в пургу. Пестрые, словно лоскутные одеяла, домики. Маленькие, плоские.

Домики занесены сугробами со стороны норд-

оста. У крылечек «поленницы» из брусков крепкого снега — это хозяйки заготовили «воду» на чай, на тесто, для стирки. Между сугробами и домиками ходят собаки с уныло опущенными хвостами.

И весь городок плоский. Его при царских наместниках наспех сколотили на песчаной косе, на самом пути довольно бурной реки. Сейчас для него ищут другое место, где-нибудь повыше, чтобы не слизнула его рвущаяся в море река.

Минувшей осенью был такой случай. Вода поднялась. Крепким ветром натащило льды с лимана. И полезли льды на город. Покрыло его весь водой. По движущимся льдинам жители перетаскивали свое имущество на гору, где исчезает верхушкой в низком хмуром небе металлическая мачта радиостанции. Она похожа на Эйфелеву башню. Поставили ее американцы во время интервенции.

Увидев ее, удивился кругосветный летчик Джимми Маттерн, когда его в Анадырь привезли из тундры пограничники.

Джимми Маттерн сидел здесь, пока не прилетел за ним из Хабаровска советский летчик Леваневский.

У Джимми Маттерна, как известно, над анадырской тундрой сдал мотор, и летчик пошел на посадку. Тундра стлалась под ним волшебным ков-

ром, похожая на хороший военный аэродром, засеянный травою.

Джимми смело садился в надежде взлететь. Но самолет, едва коснувшись земли, потерял шасси и врезался в землю.

— Кончено, — сказал летчик и стал выбираться из кабины.

Джимми Маттерн, забрав свой аварийный запас — бутылку воды и три бутерброда, пошел к кустарнику под жужжание веселой мошкары. Он сделал там шалаш из хвои и прожил в нем трое суток, пока его не пригласили на «чай-пауркен»[48] чукчи, оказавшиеся, к счастью, поблизости, у реки.

Он жил у чукчей, пока не приехали к нему на помощь пограничники вместе с Колей Лукьяновым и Тегрынкеу — председателем Чукотского окрисполкома. Но помочь ничем было нельзя. Орел[44] остался в тундре. Джимми снял с него магнето и приборы и поехал в Анадырь.

Так Анадырь впервые стал знаменит. И теперь еще старый радист Иван Бушуев вспоминает, как неслись в Анадырь сотни радиограмм из Америки, из Москвы, из Хабаровска, как Джимми Маттерн сидел рядом с ним у аппарата и, вежливо улыбаясь, писал ответы — длиннющие ответы...

Словом Анадырь самолетами не удивишь. Он видел не мало и целых и разбитых машин, зна-

менитых и малоизвестных летчиков. И сейчас он ждет к себе Водопьянова, Галышева и Доронина. Их где-то прижало пургой, — нето в Гижиге, нето в Каменском.

Мы сюда залетели неожиданно, и анадырцы всем городом высыпали на аэродром, приготовленный на лимане, приняв нас за них.

Молокова, когда он вылез из кабины, подрулив к сугробам, опоясывавшим городок словно крепостным валом, спросили:

— Вы кто, Водопьянов? А который Галышев?

Узнав, что это «не те», стали расходиться. Как обычно, с помощью все тех же везде одинаково хороших ребят-пограничников мы стали готовить самолеты к ночевке.

Пурга началась через два часа после того, как мы укрепили самолеты.

Назавтра ветер внезапно притих до полного штиля, и морозная пурга сменилась слякотью, туманом с липким снегом.

• • •

Наш экипаж — Пивенштейн, Грибакин и я — живет в домике председателя интегрального кооператива. Экипаж Молокова — через дом по-соседству, а Каманин, Шелыганов и Анисимов — за рекой, у пограничников. Но все собираются у нас. У нас виктрола, поют Пирогов и Ханаев из

Большого театра, старушка Варя Панина вспоминает былое цыганское счастье, а под гитару и веселый Пивенштейн непрочь спеть «Калитку» и «Ах, эти черные глаза».

Хозяин нашего дома в долгой отлучке. Он на нарте объезжает далекие отделения своего интеграла. Его жена — учительница Наталья Антоновна — жалуется на низкое северное небо, на пургу, на то, что осенью пароходы завезли мало сахару, и на ужасно долгие командировки мужа.

— Какие вы счастливые — позавчера из Олюторки, — говорила она нам. — Почти тысячу километров пролетели за два дня. А у нас тут месяцами едут этот путь. Вы знаете, начальник милиции нынче вернулся из командировки вот такой обросший — целых восемь месяцев ездил по округу... А уж как здесь скучно...

Однако, как ни скучно, а здесь есть люди, живущие безвыездно по двадцать лет. Этим, наоборот, кажется, что год от года жизнь в Анадыре веселеет. И в самом деле — появился театр, русский и чукотский, выходит своя печатная газета, летают самолеты, а сколько с каждым годом появляется новых людей и проездом и на постоянное жительство. А люди-то! Геологи, инженеры, врачи, летчики и даже профессора. Виданое ли дело? Ведь раньше кто сюда ехал? Разве что городового нового пришлют...

Хоть мы и «не те», кого ждали, но анадырцы и к нам стали очень внимательны. Гостеприимство — это неотъемлемая черта севера. Нам показали все достопримечательности: вот здесь жил Маттерн, а вот тут Леваневский, здесь вот были похоронены члены совдепа, убитые подлыми предателями-эсерами, — их останки 1 мая прошлого года вырыли и похоронили на кладбище, поставив над ними звезду.

— Представьте, какая здесь почва, — охает рассказчик. — Отрыли их — лежат как живые.

— А около села Марково в кургане даже екатерининского солдата в полных доспехах нашли, — спешит добавить другой.

В фактории нам показали богатые меха и бивни мамонтов — они частенько попадаются в тундре. Интересные вещи нам показал старейший из старожилов — любитель-натуралист товарищ Седько, замечательный препаратор. Как живые глядят на нас его полярные волки, совы, нырки, топорки, песцы, лисы, горностаи и все пушное и пернатое богатство Чукотки.

Зашли мы, конечно, и в типографию. Посмотрели, как редактор товарищ Левченко ухитряется выпускать четырехстраничную газету, не хуже чем в Номе на том берегу. У него шрифта-то всего на одну страницу. Наберут ее, напечатают, а потом разберут и начинают набор второй стра-

нички. День — набор, день — разбор, аккурат на десятый день выходит газетка «Советская Чукотка» с уголком на чукотском языке латинизированным алфавитом.

Скоро тут будет съезд советов, делегаты уже съезжаются. Их нарты собираются по утрам у «дома колхозника». Здесь весь день и ночь напролет собачий лай.

Делегаты — чукчи — зверобои и оленеводы. Они ходят по Анадырю в звериных шкурах, без малахаев, блистая иссиня-черными волосами с выстриженной макушкой — точь-в-точь тонзура у католических патеров. Они чувствуют себя здесь как в стойбище, — захотят есть, заходят в первый попавшийся дом.

Только здесь уже мы обнаружили, что в опасности был и самолет Каманина. Во время пурги, трепавшей нас над горами Пал-Пала, узел башмака[45] лопнул, и непонятно, как крыло с ослабевшим креплением донесло самолет до Анадыря. Вот этот-то башмак и увезли Грибакин с Анисимовым на тот берег лимана, в мастерскую рыбоконсервного комбината.

Пивенштейн готовится к докладу. Молоков, зашедший к нам в гости, молча курит, хозяйка проверяет тетради учеников.

За дверью в сенях раздается топот и сопенье. Кто-то аккуратно очищает ноги от снега... Дверь

скрипит, и на пороге появляется незнакомый чукча.

— Этти! — улыбаясь провозглашает он, проходит в комнату, где мы сидим, и садится тоже. Молчит и улыбается, улыбается криво, верхняя губа искалечена — вырвана.

— Ты на съезд приехал? Делегат? — начинает разговор Пивенштейн. Валюмаркен?..[46]

— И-и-и... валюма...

— Это что такое у тебя? — летчик показывает на губу.

— Кейнин-ам-м, митветь ам-м...[47]

— А ты в гости зашел? Что ты хочешь?

— Чай-пауркен, — отвечает гость и громко смеется. — Варкен?..[48]

— Уйна,[49] — смеется летчик.

— Варкен, варкен, — поспешно говорит Наталья Антоновна и бросает свои тетради. — Что вы, Борис Абрамович, он может еще обидеться! Сейчас я приготовлю.

И она идет в кухню, чтобы подбросить в плиту драгоценного угля, добываемого на том берегу лимана, за две-три мили от города.

К ночи, когда Грибакин с Анисимовым вернулись с хорошо сваренным башмаком, туманная слякоть снова сменилась пронзительным ветром, снова метет, снова начинается пурга.

...На рассвете я подсмотрел, как Каманин дваж-

ды поднимался с постели и, натянув валенки, выходил понюхать погоду. Поймав мой взгляд, он буркнул как бы про себя:

— Ветер затих, но туман и снегопад. Ведь это же чорт знает что такое. Пять суток торчим здесь, а в лагере, сообщают, идеальная погода, второй день уже.

Утром получили новую метеосводку. В лагере Шмидта опять хороший день. А у нас видимость двести метров, и самолеты завалены снегом.

В городе после пурги налаживается нормальная жизнь. Оживают конторы, лавки, школы. Пограничники с лопатами пришли к самолетам. Геолог Васильев собрался в бухту Угольную.

И вдруг начинается переполох. В городе не досчитываются четырех жителей. Они не вернулись после спектакля домой и три дня уже отсутствуют.

Начинаются поиски. Охотники и десяток нарт разошлись в разные стороны. Часа через два все исчезнувшие граждане города найдены: трое в снегу совсем близко от домов, один из них без признаков жизни, четвертая потерянная гражданка Феня Каланча, прозванная так за высокий рост и широкие плечи, пришла сама. По пути в комбинат она заблудилась, но, к счастью, набрела на юкольник — сарайчик, где чукчи берегут юколу — собачий корм. Здесь, питаясь юколой и сне-

том, она пережидала пургу три дня и три ночи.

Феня с собой, казалось, принесла легонький зюйд, начавший разгонять серую муть. На юге показалась желанная голубая полоска.

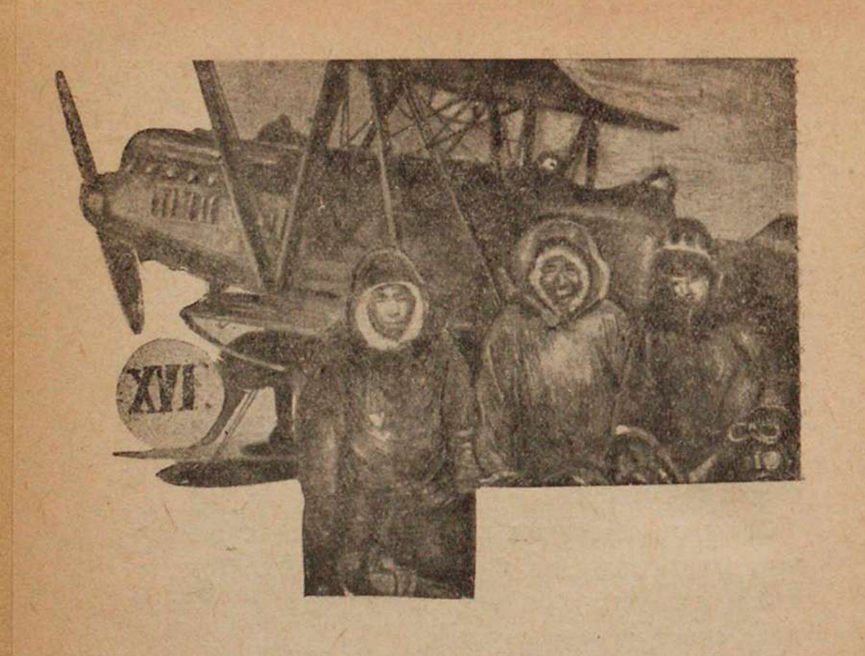
Пока я бегал на радиостанцию, к старику Бушуеву, за очередной метеосводкой из Уэлена, Ванкарема и Северного мыса, эта полоска разрослась на полнеба, засияло солнце. Громада туч быстро уплывала на север, уступая место прозрачной лазури. Повеселевший, снова розовый Каманин, взглянув на сводку, коротко приказал:

— Греть воду! Запускать моторы! На личные сборы три минуты!

Загудели кухонные плиты. В детских ванночках, тазах, ведрах и бидонах таял снег. Домохозяйки славного Анадыря включились в великое дело спасения челюскинцев.

Через час, счастливые и веселые, мы садились в кабины. Весь Анадырь любовно провожал нас.





ОЧЕНЬ ТЕПЛО и даже душно в спальном мешке. Как всегда, заботливый Грибакин набросил мне на голову край своего толстого одеяла. Мы с ним лежим рядом. Подле нас Каманин с Пивенштейном, у входа в ярангу спят Молоков, Шелыганов и Анисимов с Девятниковым. Нет только Пети Пилютова — он с вечера, освободив всех от караульной службы у самолетов,

устроился ночевать в задней кабине фюзеляжа своей «синей двойки».

Непроницаемая гряда облаков над вершинами Анадырского хребта снова отрезала нам путь на Ванкарем.

Мы решили переждать, пока откроются горы, на берегу залива Креста. Мы сделали посадку подле шести яранг чукчей-зверобоев в селении Кайнэргин.

Чукчи эти живут небогато. Только один из них — Тетыгрэу — имеет восемнадцать собак, шесть щенков и два винчестера. Яранги у всех маленькие, тесные и ужасно грязные. Запах от копальхена,[50] хранящегося тут же в яранге, прямо удушающий.

Никто из нас не решился ночевать в яранге. Ветер свежел. Казалось, что за ночь он разгонит «муру», как летчики любят называть большую облачность, и утром мы улетим.

— Одну-то ночь переночуем и на воздухе, — рассуждали мы.

Однако Тетыгрэу, неплохо объяснявшийся по-русски, предложил нам спать в своей старой яранге. В ней недавно был пожар, и сейчас там стоял только остов — китовые ребра и жерди из плавников. Кликнув соседей, он притащил шкуры моржей и парусину с вельботов, и очень быстро старая яранга получила крышу. Огромную,

черную от времени лахтачью шкуру постелили на снегу.

В благодарность Тетыгрэу и его соседям мы вечером закатили «чай-пауркен» для всех со сгущенным молоком и галетами.

Я уже выспался и мне хочется выйти наружу посмотреть на горы. Вечер вчера был чудесный. Возможно, что сейчас настолько хорошая погода, что уже сейчас, задолго до рассвета, следует разжигать батарею наших паяльных ламп и греть в бидонах воду.

Но почему так трудно встать? Словно Грибакин набросил на меня не край одеяла, а целую медвежью шкуру.

С трудом приподнявшись на локте, я откинул фартук, закрывавший спальный мешок, и испугался — в нашей яранге бесновалась пурга. Моржовые шкуры и парусину сорвало, и они, ехидно пощелкивая, колотились о китовые ребра и жерди. Снег завалил всех нас толстым, с полметра, слоем. Снежный вихрь слепил глаза, забирался за ворот рубахи и в мешок.

Выбравшись из яранги, я безуспешно пытался увидеть самолеты, стоявшие метрах в ста на льду залива. Не только их, но даже ярангу Тетыгрэу, стоявшую почти рядом, метрах в шести-семи, нельзя было разглядеть в этом воющем снежном месиве.

Вернувшись обратно в ярангу, я завопил:

— Товарищи! Нас заметает пурга....

— Ничего, попробуем пробраться к соседу, — спокойно отозвался Каманин. — Теперь, вероятно, уж никто не испугается копальхена...

Из снега один за другим, отряхиваясь и фыркая, стали появляться люди.

Девятников зажег паяльную лампу, и ее бледное пламя озарило развалины нашего жилища.

Бортмеханики еще спали. Они поздно закончили свою всегдашнюю возню у моторов.

Грибакин лежал еще под нетронутым слоем снега, и только маленькая оттаявшая дыра отмечала его «постель».

Неунывающий Пивенштейн склоняется над нею и гудит:

«Мефистофель! Мефистофель!
Вам зовут из подземелья-я-я...»

— Иду-у, — неожиданно отвечает Грибакин и выпрыгивает из-под снега как хороший пловец, «ласточкой» ушедший под воду.

Молоков уже как-то ухитрился разжечь свою трубочку и, улыбаясь, наблюдает, как мы ковыряемся в снегу в поисках сумок, примусов и консервных банок.

— Ну, товарищи, пошли, — и он первый, захватив свой спальный мешок, выходит из яранги.

— Что ж это такое, — без штурмана пой-

дем? — восклицает Пивенштейн. — Шелыганову так тепло, что он не хочет отсюда уходить?

— Обойдемся, — улыбается Каманин. — Василий Сергеевич нас как-нибудь проведет.

— Проведет, проведет, — ворчит Молоков, — а ведь яранги соседа и в самом деле не видно...

Сгрудившись в тесную кучку, мы пристально смотрим туда, где стояла вчера яранга Тетыгрэу.

Вокруг голубеет — начинается рассвет, но это не меняет положения. Снежный вихрь попрежнему силен, и различить что-либо в нем невозможно. Итти наугад опасно — можно пройти в одном метре от яранги и потом плутать в снегу до потери сил.

— Пошли, — вдруг сказал Молоков. — Сейчас я видел ярангу, она мелькнула как молния.

Увязая по колено в снегу, падая и поднимаясь, мы потянулись за Молоковым.

— Ну, вот и сосед! — воскликнул он. — Прошу заходить без стеснений.

В нос ударил не только запах квашеной моржатины, но и псины. В яранге все собаки Тетыгрэу. Они встретили нас молча, некоторые начали лизать снег на сапогах и комбинезонах. В спальной палатке, завешенной пологом, тихо. Повидимому, хозяева спят.

Пивенштейн решает все-таки предупредить хозяев о гостях.

— Неудобно, — шепчет он, — так грубо ворвались. — Подходит к пологу и, щелкая по шкуре, зовет:

— Тетыгрэу, а Тетыгрэу, мы к тебе...

Полог приподнимается, и Тетыгрэу показывает свое гостеприимно улыбающееся лицо.

— Уяльгуяль, майнынюю, ай-я-ай, — качает он головой...

И снова исчезает.

— Уяльгуяль — пурга, майнынюю — большой ветер, — заглядывает в тетрадку Пивенштейн. Он не расстается с ней, начав еще в Анадыре записывать чукотские слова.

Тетыгрэу между тем вылезает из-под полога одетый и тотчас же просит нас снять мокрые меховые сапоги и комбинезоны.

— Анканаут! — восклицает он. Из-под полога высовывается голова его жены. Он подает ей сапоги, рукавицы, шапки — все будет осмотрено, если надо, починено, у хозяйки найдется игла и рыт-рит (оленья жила) для летающих гостей. А сам хозяин, ребром нерпы сбивая снег с комбинезонов и спальных мешков, развешивает их на ремнях из моржовой кожи, растянутых под крышей, сквозь щели в которой начинает уже пробиваться мутный свет наступающего дня.

Все обитатели полога проснулись. Показалась всклокоченная голова старика Укылькута. Он с

достоинством покуривает старинную чукотскую трубку с предлинным медным мундштуком и время от времени пресерьезно сует его как соску в рот маленькой внучке.

Поднялась одиннадцатилетняя девушка Кутхэут. Ее обязанность достать из ямы кусок моржатины и нарезать маленькими ломтиками для завтрака. Старуха — жена Укылькута — лежит, также высунув голову из-под полога, равнодушно и лениво посматривая на нас.

Вылез из-под полога еще один обитатель — славный малый лет тринадцати с живыми карими глазами и прямым носом на красивом лице. Это Уальден — жених Кутхэут. Он приехал из селения у горы Матичингай в гости к Тетыгрэу.

Узнав, что один из наших товарищей спит в самолете, Тетыгрэу что-то говорит этому мальчику и потом объясняет нам, что Уальден может кого-нибудь проводить к самолетам.

С Уальденом пошли Молоков и Грибакин. Мы же с Каманиным и Девятниковым принимаемся за стряпню.

Чудесный у нас всегда получался суп. Мы крошили галеты и лук в чайные кружки, клали туда по кусочку масла, мясных консервов и заливали все это кипятком. Посолив, кипятили на примусах и паяльных лампах. После супа обычно варили шоколад или какао. Иногда Пивенштейн

угощал нас мороженым, которое он приготовлял всегда с завидным трудолюбием. Его рецепт полярного мороженого весьма примитивен: две-три банки сгущенного молока он растирал в какой-нибудь посудине пополам со снегом.

Пилютов и Шелыганов, всласть выспавшиеся под снегом, явились вместе. Петя был весел и доволен собой.

— Часов до двух ночи я не спал. Все ходил около машин, — рассказывает он. Ночь была хорошая, теплая. Ледок иногда потрескивал — самолеты чуточку осели. Я все смотрел на хребет, казалось иногда, что он открывается. Луна над ним висела яркая, свету от нее много. Потом вдруг луна ушла за тучу, потемнело. Сразу поднялся ветер. Залез я в фюзеляж, лежу и думаю: как это мы к челюскинцам подлетим. Закрою глаза и представляю себе Ванкарем, какой он такой есть... Интересно очень. А ветер все злей становится. Да вдруг как рванет, закрутило, замело сразу так, что я из кабины выскочил. Смотрю, смотрю и берега не вижу. Тут с одного самолета чехол стащило, по ветру треплет. Ух, и повозился же я с ним, а все-таки прикрутил, все проверил. Ну, думаю, к чертям пургу эту, — залез я к себе в фюзеляж обратно, накрылся, укутался, да и заснул лучше не надо. Молоков разбудил...

Проходит день, а пурга не утихает.

Тетыгрэу скрылся за полог и не показывается больше. Там тесно, и все же он пригласил туда двоих — Пивенштейна и Шелыганова. Они залезли и уже минут через пять высунули оттуда красные потные лица.

— Ну и жара, — пыхтит и отдувается Пивенштейн, — мы разделись, как и хозяева, до трусиков и все-таки невмоготу. Три жирника эти могут уморить. Ой, Каманин, давай поменяемся местами.

Каманин смеется — он чувствует себя неплохо, лежа со мной на нарте. На соседней — Грибакин и Анисимов. Экипаж «синей двойки» увел к себе Номессау — председатель здешней артели зверобоев.

Грибакин и Анисимов спят. Мы с Каманиным пробуем заняться дневниками.

Вокруг бродят, потягиваясь и зевая, псы — белые, серые, пестрые. Щенки, играя, грызутся. Их мордочки уморительны.

Около Каманина, глядя на него умными, бойкими глазами, сидит, покачивая пушистым хвостом, вожак упряжек — Песьек. Утром Тетыгрэу внимательно осмотрел и обстриг его лапы — в первый же ясный день Песьек поведет упряжку в Анадырь.

Пурга, однако, не мешает чукчам ходить в гости.



С. ЛЕВАНЕВСКИЙ

То-и-дело в ярангу вместе с клубами снега вползают соседи. Долго сидит на корточках у костра косоглазая старуха. Тетыгрэу нам объясняет, что она ждет, не дадут ли ей выпить. Ее приучили к этому «американские мальчики», лет шесть-семь назад побывавшие в заливе на шкуне, полной товаров и виски.

Зашел какой-то молчаливый горбун вместе с красивым десятилетним пареньком — Эмматау. У него чистенькое кругленькое личико, веселые карие глаза, прямой нос, маленький рот и крепкие белые зубы.

— Америкэн экык, — хрипит старуха, лаская Эмматау грязной и скрюченной рукой.

Тетыгрэу объясняет:

— Она сказала, что это американский сынок. Верно, верно, — подтверждает он, — его оставил вдове Икэтки один «американский мальчик».

Старуха, отчаявшись в своей надежде на выпивку, лезет за полог, и Пивенштейн оттуда, давясь смехом, кричит, что она тоже раздевается.

Номессау считает своим официальным долгом посидеть с нами. Он сидит на боченке со льдом, невозмутимо пожевывая табак. Его коричневое, чуточку горбоносое лицо очень напоминает героев Фенимора Купера.

Каманин, небритый и опять потемневший, выспрашивает у него:

— Товарищ Номессау, когда же эта пурга кончится?

— Кхо-о, — шипит Номессау, переводя тотчас же на русский язык: — Не снаю...

— Ну, будет завтра погода лучше?

— Навэрна будет, — флегматично отвечает Номессау и, помолчав, добавляет: — Навэрна нет... Кхо-о...

— А когда ты собираешься на охоту? — нетерпеливо ставит Каманин наводящие вопросы.

— Навэрна завтра, навэрна, — пожимает плечами Номессау и протягивает Каманину папушку табаку — угощайся, мол, жуй табак и терпеливо жди.

Север учит терпению, мы начинаем это понимать и терпеливо ждем нового дня.

Пробуянив под ряд тридцать часов, пурга затихла.

Вместе с чукчами, захватив лопаты, мы идем к самолетам — они уже третий раз стоят вот так, заваленные снегом. Хотя кабины и моторы были под чехлами, но, как оказывается, чехлы эти плохая защита от северной пурги. Снег до отказа набился и в кабины и под капоты моторов. В нашей кабине, около доски с приборами летнаба, Грибакин забыл свои часы — они болтаются теперь, одетые в снежный футляр толщиною в добрый десяток сантиметров.

День уходит на возню со снегом.

Номессау уже сам подходит к Каманину и деловито сообщает:

— Навэрна завтра будет хорошая погода, навэрна...

Каманин смеется:

— Да уж теперь я и сам вижу... Ты бы меня вчера утешил.

Около яранг громко залаяли собаки:

— Э-э, — Номессау прищурил глаза, — это чаучу едут... Собаки навэрна слышат тыкыркен коранг.[51]

Это действительно подъезжают со стороны тундры четыре нарты оленных чукчей. Быстро бегут олени, нарты прыгают по застругам на холмах.

Одновременно с другой стороны приближаются две собачьих упряжки, — по шесть пар, тринадцатый вожак. На нартах, к нашему удивлению и радости, — русские.

Эти бородатые люди в огромных кухлянках оказались партийными работниками из Уэлена. Вот уже третью неделю они мчатся, меняя собак, к Анадырю, на партийную конференцию.

Мы просим их рассказать в Анадыре о встрече с нами и передать об этом по радио в Москву, в Хабаровск. Мы не уверены, что извещение, переданное Шелыгановым по нашему передатчику о

посадке в заливе Креста, кто-либо слышал. Шелыганов признался, что передатчик был не совсем в порядке. А если так, то ведь наша судьба уже сейчас беспокоит и челюскинцев и страну.

— Тагам, — кричат каюры. Собаки натягивают алыки, и нарты, скрипя, снова трогаются в путь.

Мы переходим к другим гостям. Оленные чукчи за семьдесят километров приехали посмотреть на самолеты. Соединяя приятное с полезным, они привезли кайнэргинским чукчам оленьи шкуры и жилы.

Оленные чукчи резко отличаются от береговых. В разговоре быстры, любопытны, держатся гордо и самодовольно. Их кухлянки из лучших шкур оленя и украшены орнаментом. Они, как объясняет нам Тетыгрэу, в воздухе самолет уже однажды видели, но на земле и так близко — в первый раз. Тот, летевший самолет, был серебряный и наверное нерусский. А это уж, конечно, русские. И они, улыбаясь, показывают на красные звезды под крыльями и на стабилизаторе.

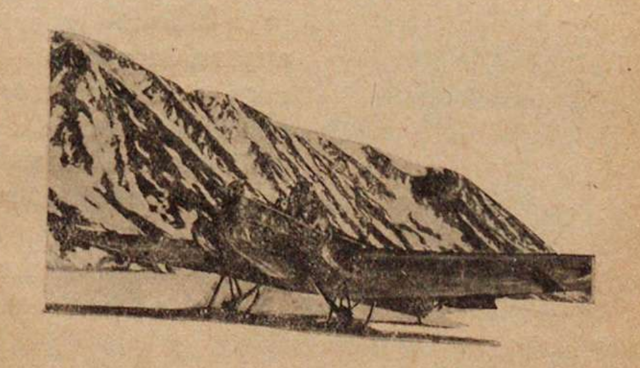
К концу дня, вытащив самолеты из сугробов и укрепив их на новом месте, на трех нартах мы поехали к северу за ближайший мыс — оттуда отлично виден хребет. Собаки, подбадриваемые криками каюров, бегут ретиво. По бокам и сзади, высунув языки, мчатся щенки.

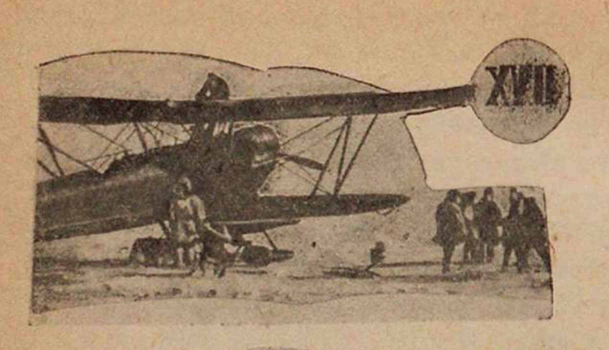
Достигнув мыса, поднимаемся на прибрежную

сопку и долго молчим, очарованные суровой красотой севера.

Горы в пурпуре и золоте заката. Солнце спускается за мощные вершины величавого хребта. Исполинский веер из золотых, нежнозеленых, лазурных и розовых лучей раскинулся на западе... Только север таинственно строг, подернутый синевато-серой пеленою...

Тишина...





ЗАВТРА первое апреля. Заснули в тревоге, — а вдруг погода испортится снова?..

Проснулись, словно по сговору, — только-только занималась заря.

Вход в ярангу открыт. Видны зубцы Матичингая. Над ними голубое небо.

Загудели паяльные лампы и примусы. Даже Тетыгрэу вытащил из-за полога и весело разжег свой старый примус. Вчера Грибакин его починил, и он работает наславу.

Узнав, что мы улетаем, Номессау отложил свой выезд на охоту. Только один горбун Чкок поехал осмотреть артельные капканы на песца и лисицу. Все остальные помогали нам возить кипяток к

самолетам, тщательно укутывая бидоны оленьими шкурами. Впервые за все эти дни вылез из-под полога Укылькут и притащил свою постельную шкуру, чтобы укрыть бидоны.

Каманин, Молоков и Пивенштейн, готовые к полету, в пилотских кабинках. Они пробуют управление, осматривают и очищают от остатков снега приборы, протирают козырьки.

Вокруг слышится:

— Заливочку!

— Провернуть!

— Контакт!

— Раз, два, три...

Мы с чукчами натягиваем струны амортизатора и, когда он срывается, рванув винт, — плюхаемся в мягкий снег. Моторы работают, то повышая, то понижая голос, летчики пробуют их на всех режимах.

Мы крепко держим за хвосты легкие самолеты — они так и рвутся вперед, поднимая винтами снежные вихри не хуже недавней пурги.

У чукотских ребятишек новая забава: они стоят, возглавляемые Эмматау, под хвостами в воздушной струе на выдержку — кто дольше выстоит.

Моторы проверены. Жмем руки нашим кайнэргинским друзьям, забираемся в кабины и выруливаем на избранную Каманиным дорожку для

взлета. В зеркальце вижу острый блеск глаз Пивенштейна. Он, встретив мой взгляд, подмигивает и, улыбаясь, дает газ.

Идем на взлет первыми. Легко оторвавшись, делаем круг, набирая высоту. На вираже я вижу круглые холмики яранг, перекрещенные моржовыми ремнями, людей у берега, потом «синюю двойку», бегущую по той же дорожке. Наконец, в воздухе и Каманин. Он выходит вперед и ложится на курс — на Ванкарем.

Сразу же открылись горы Анадырского хребта. Мы идем на высоте тысячи восьмисот метров, и все же отдельные вершины почти царапают наши лыжи. Крутые и обрывистые, они грызут небо острыми скалами. Долины попадаются редко, и они так узки, что самолету не сесть в них при случае.

Никто еще не перелетал через этот хребет. Да и чукчи нартами очень редко ездят через эти горы. Главный санный путь лежит по побережью. В глубь страны санная колея идет только с юго-востока и севера. В горах нет стойбищ. Сюда только редкие смелые охотники заходят иногда охотиться на бурого медведя, полярного волка или горного кабана.

На горизонте вершины гор застилает легкая дымка. Мы не обращали на нее внимания в начале полета, но скоро поняли ее опасность.



13 апреля. В. Воронин (слева), писатель С. Семенов, И. В. Копусов у самолета Молокова в день вылета из лагеря.

На тридцать второй минуте полета мы встретили уже не легкую дымку, а густую сплошную облачность, закрывшую горы, насколько хватал глаз. Пришлось «покинуть землю», подняться над облаками.

Вот уже полчаса летим на высоте трех тысяч метров. Внизу, куда ни глянь, переливчатый океан облаков, а над нами солнечное голубое небо.

Надо думать, что мы давно перелетели хребет и сейчас находимся где-нибудь вблизи Ванкарема.

Но облачности не видно конца.

Пилоты мечутся в поисках «окон», чтобы «нырнуть», посмотреть — кончился ли хребет. Но «окон» нет. Что делать? Конечно, можно было бы попытаться пробиться сквозь облака. Но это в том случае, если бы мы знали, что в Ванкареме погода достаточно хорошая. А ведь мы, как и в прошлый раз, летим, не зная погоды, не имея метеосводки.

Нырять в облака, быть может лежащие до самой земли, громадный риск...

Пилоты знают, что это не скоростный перелет, а экспедиция для спасения почти ста человеческих жизней.

Нет, так рисковать нельзя, и каждый мысленно одобряет решение Каманина, когда он, качнув крыльями, развернулся на сто восемьдесят граду-

сов и пошел обратно. Круто повернул за ним Молоков, а потом и мы.

И вот мы снова садимся в Кайнэргине. Нас встречают уже знакомые, радушно улыбающиеся Тетыгрэу, Номессау, Укыльткут. Они даже обрадовались нашему возвращению.

Тетыгрэу, подбежав, сообщил, что наш прилет принес их селению счастье. Горбун Чкок возвратился, осмотрев капканы, и привез трех таких замечательных песцов, что за них фактория в Крестах даст не мало муки, сахару, чаю и масла. Кроме того он привез чудесных зайцев и, если гости будут снова ночевать, они узнают, как вкусны полярные зайцы.

Мы между тем проверили бензиномеры и докладываем Каманину огорчительные цифры. Каждый самолет располагает горючим на полет продолжительностью не более двух с половиной часов.

— У нас два пути, — говорит Каманин, — или обратно в Анадырь, там дозарядиться горючим до полного и снова ждать, пока погода нас пустит в Ванкарем, или лететь этапами вокруг Чукотки на Провидение и Уэлен. На этом пути — базы...

— Летим в фиорд Провидение, — твердо сказал Молоков. — Иди она к чорту эта Анадырь. В Провидении к тому же и бензин грозненский

есть. Вот только, что скажет Шелыганов? Ведь может оказаться, что мы будем лететь и больше двух с половиной часов — все-таки триста двадцать пять километров.

Штурман сидел прямо в снегу, разложив на коленях планшет, карту, линейки, ветросчет. Он поднял обветренное лицо:

— Ветер, пока-что, на Провидение попутный. Если по прямой, — пролетим два часа двадцать минут, товарищ командир.

— Хорошо, — решает Каманин. — Тогда на Провидение.

Прогретые моторы запускаются быстро, с одного рывка. И вот мы уже несемся на небольшой высоте новым курсом. Мелькают холмы прибрежной тундры, совсем близко справа темнеет полоска моря.

Виднеется какой-то поселок. По карте это Путапенмен — фактория Креста.

Каманин немного сходит с курса, чтоб пролететь над поселком. Мы всматриваемся в строения, видны два европейских домика и около десятка яранг. Помня неписаное правило — Арктика полна неожиданностей, — внимательно приглядываемся к поселку и приятно поражаемся. Что другое, как не бензинные бочки, виднеются вон там, около фактории, в снегу? Одна, две, три, четыре...

Каманин уже идет на посадку. Удивительный у нас сегодня день...

Лыжи опускаются, словно в перину, в толстый слой снега.

Низкий берег, вдали сопки, коса, отделяющая маленький заливчик от моря. У берега беспорядочно расставленные яранги.

К нам подбегают любопытные эскимосы и двое служащих фактории. Заведывающий, толстый широколицый метис-камчадал, сразу разочаровывает нас.

— Боцьки ето пустые, — говорит он, цокая и пришепетывая. — У нас, правда, есть рульмоторьцики, да за бензиньциком к путине наши ескимосы на собацьках в Анадырь поехали. Позьдете мозет, узе они скоро подойдут.

— А ждать-то долго?

— Да ден сесь-семь, небось... А зить у нас есть где, на всех хватит...

Стоя по колени в рыхлом, как пух, снегу, мы только из вежливости теряем минуту на обсуждение — лететь ли дальше или ночевать здесь. Выдержав уже три пурги, укравшие чорт знает сколько дней, мы единогласно решаем, что пережидать пургу удобней там, где есть бензин. Поблагодарив гостеприимного камчадала, лезем в кабины, чтобы в третий раз за этот день подняться в воздух.

Это был опасный и трудный этап.

Сразу же за Крестами началось море. Мы летим над чистой водой с мелкими плавающими льдинами. Берег километров за сорок влево. Ветер здесь иного направления, чем в Кайнэргине, и дует не в хвост, а в лоб. С каждой минутой становится ясно, что все мы до Провидения не долетим. А тут, как назло, вдруг «забарахлил» мотор, стал давать перебои. Грибакин вздрогнул и снова бесстрашно поднялся, перегнувшись к кабине пилота.

Пивенштейн покачал головой, улыбнулся, словно сказал:

— Дело простое — обсох еще один бак, а я не во-время переключил мотор на другой. Да, брат Грибакин, бензин на исходе...

С надеждой глядим на скалистые берега. Они все ближе, ближе... У-фф, кончился полет на лыжах над морем. Но берег не обрадовал нас. Под нами лежали бесснежные горы и долины. Только в ущельях блестят льдом извилистые русла речушек.

До Провидения оставалась половина пути, когда нас накрыла черным крылом новая опасность. Мы увидели, как на вершинах гор закрутились снежные вихри, а через мгновение уже почувствовали их силу — самолет отчаянно заболтало.

— Приготовьтесь! — кричит Пивенштейн.

— Готовьсь! — передает мне Грибакин.

Повидимому, Пивенштейн идет на вынужденную посадку. Лезу глубже, ближе к костылю, чтобы при посадке хвост был тяжелее. В маленькое отверстие для тросов управления ищу другие самолеты. Замечаю Каманина, он снижается — берет вправо, к берегу.

О, радость! Видны какие-то яранги, а около них снежная полоска, не поймешь что, — коса или лагуна? Значит будем целы сами и спасем машины. Вон уже самолет Каманина парашютирует к этой снежной полоске — садится.

Но что с ним, — он чертит снег левым крылом.

— Эх, чорт, — вздыхаю я. — Неужели подломался? — И тотчас же охватывает беспокойство за нашу собственную посадку.

Садимся благополучно. Наш самолет пробежал через все снежное пространство и остановился как раз около каменистого берега. Благополучно делает посадку около нас и Молоков.

Нас окружают чукчи. Некоторые отлично говорят по-русски.

Мы находимся в десяти километрах от мыса Беринга. Здесь рядом два селения — Энмелин и Валькальтен. Есть школа. Фактория находится в бухте Преображения, километров за шестьдесят к северо-востоку.

Грибакин и Пивенштейн бегут к самолету Каманина. Я остаюсь. Чукчи помогают мне разрядить мотор — слить воду и масло, поднять хвост, укрепить самолет и закрыть его чехлами.

Нас окружают крутобокие черные горы. Из долин, как из труб, рвется ветер со снегом. Становится темно от тяжелых туч, несущихся на юг. Совсем близко шумят морские волны, с яростью налетая на камни. На горизонте качаются льды...

• • •

В яранге жарко от четырех жирников. Лежим за пологом, раздевшись донага, как и хозяева.

В этой яранге чисто и уютно. Нет и помина запаха копальхена. С нашим приходом хозяйка, проворная и говорливая как гагарка, убрала заткнутые под потолком пучки сухой травы и заменила их новыми. Стоит острый запах пахучей осенней тундры.

Хозяин яранги — молодой чукча-каюр, покормив собак кусками моржатины, залазит в полог, оставляя ноги наружи. Жена протирает подошвы плекотей сырой тряпкой. Потом она с мылом моет руки и, просушив их над жирником, молча садится в угол, раскурив трубку.

В этой яранге весной 1921 года сидели, пережидая пургу, сподвижники Амундсена — профессор

Геральд Свердруп и капитан «Мод» Оскар Вистинг.

Хозяин — Юинька — не без гордости показал нам большую перламутровую пуговицу. Ее нашла в яранге его мать после отъезда знатных европейцев. Но культурный быт, так обрадовавший нас и вначале принятый за результат пребывания здесь Свердрупа, оказался плодом работы человека совсем не знаменитого.

В Энмелине есть учитель Сафрон Кудеяров — скромный советский человек. До окончания techпединститута он был лекпомом в Красной армии, а теперь вот уже третий год работает на далеком чукотском побережье. Это он — Сафрон Кудеяров — начал преображение грязной и темной чукотской яранги.

• • •

Ночью, когда мигают жирники и свистит ветер, танцуя по крыше, я слышу такой разговор:

Каманин (Пивенштейну). Борис, веди самолет так же, как вел. Ты показал себя отличным летчиком. Из Провидения пришлете мне бензин, и быть может я вас догоню...

Пивенштейн (перебивая). Никаких таких слов, товарищ командир. Извиняюсь — лететь должны вы на моей машине...

Каманин. Боря, но...

Пивенштейн. Что за но? Мы же не в Америке, мы же не Маттерны, а советские летчики. Красноармейцы, чорт возьми! Ты командир, Коля, и лететь надо тебе на моей машине. Я догоню, если хочешь знать...

Каманин. Боря ты пойми...

Пивенштейн. Я понимаю одно — лететь должен ты, Николай, и желаю тебе удачи. Наконец, ведь ты не только командир, но и летчик более опытный, чем я. Ведь у тебя это первый случай — ведь ты же ночные посадки делал идеально. Да ведь если бы я первым садился тут, — шасси снес бы, честное слово. Ты, сделав эту посадку, спас две наших машины.

Каманин. Право же, Борис, не в этом дело...

Пивенштейн. Кончено, я не слушаю. Самое трудное впереди — лети и только...

Каманин. Ну, а ты?..

Пивенштейн. О, я не пропаду. У нас в Одессе говорят: солнце светит и для крота... Только он им не умеет пользоваться, а я умею. Будь покоен, — вы меня увидите еще в Уэлене.

Каманин (после минутного молчания). Ладно. Грибакин пусть летит со мной. Ты останешься с Костей Анисимовым. Он изобретательный малый, с ним ты быстро поставишь самолет на ноги. Ладно, давай руку на вечную дружбу. Итак, летчик Пивенштейн, вы остаетесь с

больной машиной и без бензина. Получив бензин, подлечив машину, летите в Провидение, откуда в Уэлен. Повторите приказание...

Пивенштейн повторяет.

Я мысленно жму руки моим хорошим друзьям, чудесным товарищам из моей чудесной страны, совсем забыв, что осталась нерешенной моя собственная участь...

Но она решается еще проще.

Наш экипаж разбивается. Грибакин летит с Каманиным. Пивенштейн остается здесь. Меня же, в виду того, что я не обычный моторист в экипаже Пивенштейна, а журналист и притом единственный во всей спасательной экспедиции, решено доставить в Уэлен раньше, чем туда доберется наш милый Боря, Молоков дает мне место в своей «синей двойке»...

И как только нас выпускает погода, мы жмем руки смельчакам Пивенштейну и Анисимову и собираемся в новый путь.

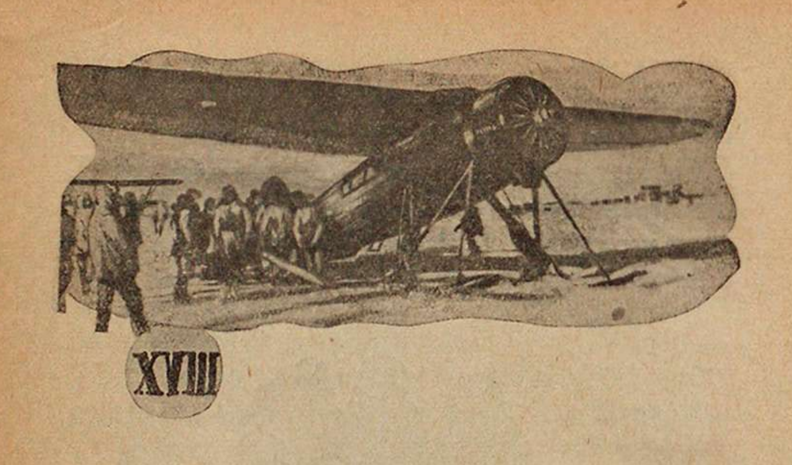
Каманин, грустный и еще более молчаливый, сидит в кабине, где от самой Олюторки сидел Пивенштейн. На крыле и подножке стоит Пивенштейн и хриповатым голосом напутствует:

— Мотор любит побольше заливочки, Коля. Прошу. Все остальное в порядке. Ну, прощай. Не беспокойся, доверие оправдаем, не забудь только бензин из Провидения. Впрочем, я завтра еще

сам съезжу на собаках в Преображенскую факторию, говорят, что там есть какой-то бензин. Прощай. Тагам, тагам... До встречи в Уэлене...

Самолеты уходят в воздух. Еще долго мы видим неподвижные фигуры Пивенштейна и Анисимова у одинокой машины... Они машут нам вслед потертыми шлемами.





XVIII

В ЭТО ВРЕМЯ в Анадыре сидели, так же как и мы, прижатые пургой, Водопьянов, Галышев и Доронин.

Водопьянов любит рассказывать о своей жизни. И рассказывать умеет — заслушаешься. В комнате погранотряда, где еще не так давно молчаливый Каманин сдержанно и точно отвечал на вопросы любопытных, сейчас весело и шумно. Громко хохочут над водопьяновскими рассказами даже не раз уже слышавшие их товарищи-пилоты.

Басисто рокочет Галышев, Доронин от избытка чувств хлопает себя по пухлому животу.

Рассказ внезапно прерывается. В коридоре громкий спор. В приоткрытую дверь просовывает голову дежурный красноармеец.

— Тут товарища начальника одна жительница спрашивает, можно ли допустить?..

— Допустите.

Задыхаясь от волнения, женщина рассказывает:

— Ой, товарищи, возле нашего дома летчик какой-то упал... Лежит, бедный, и стонет... Поднять не смогли. Весь опух, лицо обмороженное... ослеп, видать, глаз не открывает...

— Ах, чорт, с кем же это несчастье? Неужели каманинские ребята? — срывается с места начальник отряда.

— Бежим скорей, нечего рассуждать! — задергался Водопьянов. На побледневшем лице выступили яркие полосы свежих рубцов — следы его байкальской катастрофы. — Скорей, человек-то ждет!

Женщина повела их утоптанной дорожкой через сугробы в город. Позади двое красноармейцев тащили за собой нарту.

У домика, где лежал человек, собралась толпа. Все заглядывали в лицо, стараясь узнать, не из тех ли он, что улетели недавно на трех самолетах.

Человек слабо стонал. Его осторожно положили на нарту и повезли к дому пограничников. Внесли в комнату и, положив на диван, сняли изодранный синий комбинезон.

Стали приводить в чувство средствами, какие нашлись в карманной водопьяновской аптеке. Он тяжело, со стоном вздохнул и открыл воспаленные глаза.

— Где я? — прошептал он.

— Ты, браток, в Анадыре, у пограничников. Мы тоже летчики. Я — Водопьянов, а вот Галышев, Доронин... Тоже за челюскинцами летим. А ты откуда взялся и почему ты один?

— Водопьянов? — слабо спросил больной. — Я ничего не вижу. Я разбил очки при аварии... Я пять дней плутал по снегам... Мы все трое ослепли... Я — Разин, техник с самолета Бастанжиева... Они, ребята, должны быть близко отсюда, за горой Дионисия, идите по моим следам, найдите их...

— Ищи ветра в поле, — свистнул Водопьянов, — да ведь твои следы давно поземка сгладила. И ночь, как нагрех, занялась, как же искать их? Фонари есть, товарищ Ребров? Нарты две-три, да и в разные стороны.

— Уж тут ты не волнуйся, — улыбнулся Ребров. — Искать людей после пурги в снегах нам дело привычное.

Он приказал готовить нарты, и люди стали собираться на поиски.

Но едва успели каюры отряда прикрикнуть на собак и встряхнуть нарты, как раздались встречные крики:

— Подь-по, подь-по, кых, кых!..

Две нарты показались из-за радиостанции.

— Стой, ребята, чукчи кого-то везут, — крикнул Ребров. И побежал навстречу новым нартам.

— Этти! — весело крикнул ему первый каюр...

— Этти! Кого везешь?

— Руськие... Два человека... ползли в снегу к моей яранге. Упали оттуда, — чукчи показали на небо.

Это и были Бастанжиев и Романовский.

Их также втащили в комнату, раздели, уложили на чистые койки. Оба бессвязно бредили и пришли в себя только на утро.

Утром к ним зашел сияющий Ребров — в кармане гимнастерки у него лежала хорошая новость.

— Ну, ничего, ребята, ничего, вы еще поправитесь. Такие молодцы, еще полетаете... Не грустите же, чорт возьми.

— Товарищ Ребров,—прохрипел Бастанжиев,— разве мы о себе беспокоимся? Самолет жалко. Мы на нем ведь даже ящики специальные устроили — челюскинцев возить. Челюскинцев нам

жалко и всех наших ребят, — о них ведь тоже ничего не известно.

— Вот уж и неверно. И за челюскинцев и за ребят не беспокойтесь, пожалуйста. Каманин и Молоков в Уэлен прилетели, — вот телеграмма. Слепнев там же — из Аляски подлетел. Пивенштейн тоже цел и невредим, но сидит у мыса Беринга и ждет бензина. А в лагере еще двумя меньше стало — Бабушкин со своим механиком Валавиным на старой «шаврушке» перелетел в Ванкарем. Во, какие новости! Ну, орлы, а как ваши глазки?

Все трое сразу открыли глаза и тотчас зажмурили.

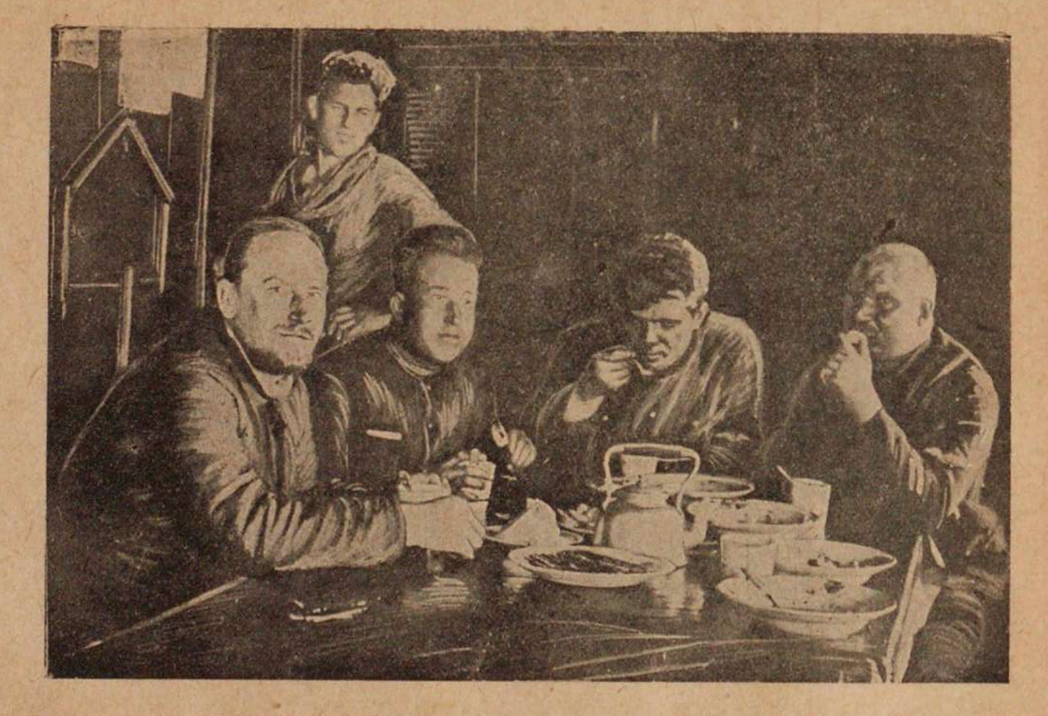
— Ой, больно, режет...

— Ничего, это-то, во всяком случае, проходит. Вот, кстати, и доктор идет.

Вечером, дав отдохнуть больным, снова собрались в этой комнате летчики и Ребров с помощниками.

Бастанжиев, весь укутанный бинтами, с закрытыми глазами, рассказывал:

...Товарищ Ребров сообщил нам новость. Очень радостно стало. Но вот ничего неизвестно еще об одном нашем товарище — Ване Демирове. Он в горной пурге две недели назад оторвался от Каманина и Молокова, а всего пять дней назад расстались с ним и мы.



17 апреля. После прилета из Ванкарема. В уэленской столовой. Слева направо — Бабушкин, Шеломов, Водопьянов, Доронин.

...Демиров, попав в пургу над Пал-Палом, вернулся, но не в Майна-Пыльгин. И правильно сделал. Потому что в Майна-Пыльгине, где мы возились с нашим мотором, он бы уж не сел, так как началась отчаянная пурга.

...Демиров нашел просвет на юго-западе и ушел в него. Но от снежных туч он не ушел — они прижимали его все ниже и ниже. Заметив русло какой-то речки, он решил сесть...

...Рассчитывая на прояснение погоды, мотор он не выключал — держал на малых оборотах. И верно, под вечер погода как будто улучшилась. Проложив себе по компасу примерный курс на Майна-Пыльгин, Демиров поднялся и полетел. Но тучи снова прижали его, и он вынужден был снизиться около яранг на реке Апуке, милях в полутораста от Майна-Пыльгина.

...Началась пурга, и они просидели пять дней. Только 27 марта, вылетев к морю, берегом прошли на Майна-Пыльгин, где встретились с нами.

Мы страшно обрадовались ему, да и он был рад встрече. Все-таки, знаете, чертовски скучно лететь над этими снежными пустынями одним...

...До 31 марта мы сделали две попытки улететь в Анадырь. Проклятая погода портилась на глазах: утро блестящее, только запустим моторы — начинается снег. Или вылетим, а над горами сно-

ва нас давит густая облачность, либо снежные вихри сбивают...

...Наконец, вылетели в третий раз и горы пересекли удачно. Перед нами открылась ослепительно белая тундра — не во что упереться глазом. Вдруг самолет влип в густой белесый туман. Я оглянулся — Демиров исчез. Летим в тумане — замечаю, что козырек стал покрываться льдом, вижу наледь на стойках. Исчез под наростом льда термометр на стойке. Машина начинала обледеневать, и я должен был выводить ее из тумана...

...Все ниже, ниже. Прибор показывает уже полтораста метров, но ни земли, ни льдов залива не видно. По времени под нами должна быть земля Гека — это ровная низменность, по крайней мере по карте. Иду еще ниже — в надежде увидеть землю и вдруг, ощутив молниеносный удар, дергаю к себе инстинктивно рычаг газа... И больше я ничего не помню...

— Да, браток, и со мной то же самое было на Байкале, — говорит Водопьянов. — Заснул у штурвала над станцией Мысовой, проснулся в больнице в Верхнеудинске и ничегошеньки не понимал и не помню. Поднимаю голову, а на ней тридцать швов. Зову Серегина,[52] — велю мотор запускать. А мне и говорят — товарищ Водопьянов, ведь самолет-то разбит. Хорошо, говорю, тогда пишите телеграмму товарищу Уншлихту —

готов продолжать перелет, прошу выделить машину, жду... А только потом хватился, что я и подняться-то не могу... Ну, Разин, теперь ты давай досказывай...

Разин приподнялся на локоть с закрытыми глазами.

...Я не знаю, сколько часов мы лежали. Первым очнулся Романовский. Он был среди обломков задней кабины. Вышел, говорит, осмотрелся — ни Бастанжиева, ни меня нет. Вместо самолета куча щеп и обрывков перкали. Шасси в стороне, левые плоскости словно гигант какой в трубку свернул, а правые, оторвавшись, стоят, ребрами упершись в снег, образуя шатер, в котором мы потом и провели ночь. Ползая вокруг самолета метров на двадцать пять—тридцать, Романовский нашел сначала меня. Я очнулся с резкой болью в боку. Вижу окровавленное, в царапинах лицо Романовского. Он теребит меня за грудь и все спрашивает:

— Ты жив, жив?.. Где Бастанжиев?

...Поднимаюсь и я на четвереньки. Теперь вдвоем ищем летчика и находим его глубоко в снегу метрах этак в тридцати от самолета.

...Лежит в привязных ремнях, которые вместе с подушкой сиденья вырвало силой удара. Невдалеке валяется рычаг газа. Мы осматриваем лицо Бастанжиева — чистое, ни единой царапины.

Растормошили. Он очнулся, так же как и я жалуется на боль в груди и в боку. Поползли мы к остаткам самолета. Все раскидано. Фанерные ящики разбиты, и продовольствие, что было там, рассеяно по снегу на протяжении метров сорока—пятидесяти, начиная от места, где самолет получил первый удар. Нашли спальные мешки, паяльные лампы, примус, но бензину не оказалось в баках мотора ни капли, весь вытек. Подобрали мы в снегу несколько банок с молоком и обломки шоколадных плиток. Ни галет, ни мясных консервов так и не нашли...

...Был полный штиль, шел снег. Ничего вокруг не видно. Мы сняли компас, но определиться, где находимся, не могли. Поели снегу и мороженого молока с шоколадом и залезли под шатер из крыльев, пытаясь заснуть. Но это был не сон, а бред какой-то. Бастанжиев и Романовский то-и-дело кричали:

— Вот чукчи, вот нарты, скорей, скорей, помогите запустить мотор, мы спешим...

...Мне стало жутко. Я ушел метров за пятнадцать, где лежал стабилизатор и обломки фюзеляжа. Здесь мне, однако, было не легче. Самому стало чудиться — лай собак, людской говор и даже шум пропеллера...

...Утром началась пурга... Я приполз на коленях к товарищам. Мы снова поели мороженого мо-

лока и шоколада. Залезли в спальные мешки и лежали в них под нашим шатром. Скоро снегом нас занесло наглухо... Я задыхался, быть может не столько от недостатка воздуха, сколько от разных глупых мыслей, которые лезли в голову. Мне казалось, что нас заносит и покрывает льдом, что лед нас сковывает навсегда в этой снежной могиле. Бастанжиев и Романовский снова стали бредить... Я не мог вынести их бормотания, начал разгребать снег, чтобы выбраться наружу и снова уползти под обломки хвоста. Но силы мне изменили. Я упал без чувств...

— Разин! Погода! Очнись!.. — Я открыл глаза. Надо мной стояли на коленях товарищи. Сквозь отверстие в снегу пробивался солнечный луч. На душе повеселело.

— Надо собираться, — говорит Бастанжиев, — видно гору Дионисия. Мы всего милях в тридцати от Анадыря, не больше. Дня в два дойдем...

...Я выполз из сугроба, — погода была действительно хороша...

...Из обломков нервюр мы разожгли костер, разогрели молоко и несколько банок мясных консервов, которые нашлись в обломках. Вернулись силы и бодрость. Решили итти к северу, прямо на Дионисий, за горой должен быть Анадырь. Захватили магнето, спальные мешки, остатки продуктов. Сделали сани из самолетной лыжи, но

снег был такой рыхлый, мокрый и вязкий, что на первой же сотне метров эта лыжа нас вымотала. Мы вернулись к обломкам самолета и взяли нижний капот от мотора, — он ведь из легкого дюралюминия. Все равно итти в наших тяжелых комбинезонах было чертовски трудно — мы вязли в снегу, падали и, поднимаясь, тащились снова...

...Ночь настигла нас у подножия горы Дионисия. Позади осталась снежная голая тундра, по которой мы в тумане позавчера чертили крылом. Морозно — градусов до двадцати пяти. Спать боялись. Шли всю ночь по подножию Дионисия. К утру морозный туман скрыл все вокруг. Пришлось итти по компасу и карте. Силы снова нам изменили, глаза слезились, утомленные вконец одинаково ослепительной белизной. Нам опять мерещились люди, олени, собаки...

...На следующее утро мы побросали все, оставив только пищу, но Романовский итти наотрез отказался — его мучили обмороженные ноги. Тогда мы решили разойтись — я должен был итти покуда хватит сил, а Бастанжиев оставался с Романовским в тундре ждать помощи...

...Целый день я шел строго на север. Туман поднялся, и стало все видно. Но мои глаза окончательно разболелись. Я не раз закрывал их, истекая слезами, и подолгу лежал на снегу...

...Уже в сумерках я, к своей безумной радости, заметил мачты радиостанции, а потом и строения. И прямо не помню, как я до них добрался. Я весь выдохся... Вот и все. Остальное вы знаете...

— Ничего, ребята, не унывайте, дело будет сделано, — пробасил Галышев. — Вы не сдались, не пропали, и это само по себе замечательно. Арктика, она, ребята, без боя не отдает ничего, что находится в ее власти. Вы знаете что-нибудь про Бена Эйльсона?

— Ну, как же, — отозвался Бастанжиев.

— Так вот — это был храбрый парень. Он первым доказал вздорность рассуждений о том, что самолеты в Арктике неприменимы. До 1926 года в Америке были того мнения, что даже Аляска недоступна для регулярных полетов, а полеты над льдами — просто безумие. Однако, в 1926 году Бен с полярником Вилькинсом перелетел из Фербенкса через горную цепь Эндикот высотой в три тысячи метров, пересек тундру Аляски и, без посадки, от мыса Барроу полетел над морем Боффорта к тому месту, где ученые предполагали наличие какой-то земли. Бен пересек это место за двести шестьдесят километров от берегов — тут были льды и вода — и благополучно вернулся обратно, посадив самолет у мыса Барроу. Бен, конечно, тотчас заявил в печати, в противовес установившемуся мнению, что над

Арктикой можно не только летать, но и при случае сделать посадку на лед...

— Говорят ему даже удался ночной полет над льдами? — тихо спросил Романовский.

— Вполне. Это было годом позже. С запасом горючего на четырнадцать часов он с тем же Вилькинсом вылетел с мыса Барроу в полет к полярному пику — вечным арктическим льдам. За пять часов полета Бен прошел девятьсот километров, и вдруг над льдами мотор сдал. Бен с воздуха выбрал место прямо среди торосов и благополучно сел. Пока он возился с мотором, ученый пробуравил во льду два отверстия и измерил глубину моря. Лед был не толстый, всего девяносто сантиметров, а глубина больше четырех тысяч пятисот метров. Починив мотор, Бен так же легко поднялся со льда и полетел. Но минут через десять мотор «забарахлил» снова, и Бен опять нашел среди льдов удобную площадку. Пока они чинили мотор, поднялся сильный ветер, и началась поземка. Но Бен решил лететь. Снег на льдине был рыхлый; его намело так много, что Бен часа два гонял самолет, прежде чем удалось подняться. Ветер бил навстречу. Скорость уменьшилась. Бен подсчитал, что с оставшимся у него горючим он не долетит до земли километров сто пятьдесят и что, кроме того, нехватит дня — сумрак сгущался, начиналась ночь.



М. В. ВОДОПЬЯНОВ

Больше двух часов Бен летел по приборам, не видя ни льдов, ни звезд. И вот — «чих пах» — бензин кончился. И что вы думаете? Бен отлично посадил самолет ночью, осветив лед ракетой. Это, как видите, была третья изумительная посадка на лед за один день плюс ночь. Ночь путешественники спокойно проспали в кабине, а на утро двинулись по льдам пешком и через десять дней достигли мыса Барроу. Этого замечательного летчика спустя два года сразила пурга. Он летел с Аляски в самое злое время на Чукотке — в начале зимы — с такой же благородной целью, как и мы — снять людей с борта шкуны «Нанук», затертой льдами около Северного мыса. Первый полет 31 октября Эйльсону с бортмехаником Борландом удался — он снял и перебросил на Аляску группу людей. Но во второй полет 10 ноября пурга настигла его «Гамильтон» в пути. Шестьсот сил «Райта» и искусство пилота оказались бессильными, — пурга швырнула самолет на землю, около лагуны Амгуэмы, и Бен, продавив своей собственной рукой грудную клетку, остановил так блестяще работавшее сердце. Мы со Слепневым тогда как-раз впервые пробовали работу советских машин на Чукотке. Мы должны были спасать людей со «Ставрополя», нашего парохода, также затертого льдами. Но нам пришлось начать работу с поисков тел этих погибших в борьбе с

Арктикой отважных людей. Мы нашли их, и другой летчик с Аляски — Ионг — взял их окоченелые тела, завернутые в звездное американское знамя, и доставил в Фербенкс...



...Ничего, ребята, не унывайте, — дело будет сделано...

И старый летчик попросил у собеседников плиточного табаку набить свою памятную трубку — подарок летчика Ионга с Аляски...



В КЛЕТУШКЕ аэролога, настолько маленькой, что там едва только умещалась койка, ухитрился поместиться весь струнный оркестр зимовочной станции — мандолина, две скрипки и гитара. Оркестр, усевшись на этой самой

койке, готовится к Первому мая. Музыкантам хотелось прорепетировать их лучшие номера — веселые фокстроты, но в дверях стоял молодой светловолосый парень в хаки и гетрах и настойчиво твердил только-что заученные слова:

— Пьесна русски прошу.

Ничего не поделаешь, — надо быть вежливым. И музыканты лихо отхватывали «Буденновский марш» и «Партизанскую», «Стеньку Разина» и «Коробочку»...

— Какой пьесна? — неожиданно перебивал их светловолосый парень.

В соседней клетушке сидит Маврикий Слепнев.

— Эй, Билль, — кричит он по-английски парню, — ты так настойчив в изучении русского языка, что, мне кажется, завтра же забудешь свой собственный.

Билль смеется, но неутомимо продолжает заучивать русские слова.

Биллю Левари всего двадцать один год. Но он уже шесть лет работает пилотом.

В Америке нет бортмехаников. Это большая роскошь для пилотов, работающих «воздушными извозчиками».

Редкие счастливцы имеют собственные машины. Большинство работает по найму у частных компаний.

Биллю предложили полететь бортмехаником

при командоре Слепневе, не менее популярном на американском севере, нежели Джон Дилинджер, новый американский «герой»... бандит.

Билля увлек полет: во-первых, реклама — лететь со Слепневым, во-вторых, в случае удачи, — крупный вклад на свой самолет. Его немного пугала таинственная «Сиберия», лежащая за Беринг стритом, где закончил свою блестящую воздушную карьеру Бен Эйльсон и где и сейчас почти сто человек русских храбрецов ждут спасения вдали от берега на пловучей льдине.

— Бр-р... — Билль морщился при мысли об этих людях, в спасение которых он верил меньше, чем в то, что его когда-нибудь выберут президентом. Но он колебался недолго, да и можно ли тратить время на сомнения, когда хозяин говорит:

— Или «Сиберия» — или расчет...

— Иес, сэр, — сказал он, когда командор Слепнев приказал запустить мотор только-что купленного «Флейстера» — самолета с сигарообразным фюзеляжем и красными, высоко поднятыми крыльями.

Все население Нома провожало своего знакомого мистера Слипа[53] в полет, из которого Эйльсон не вернулся. Весело щелкали фотоаппараты и кинамы. Старик Томас Росс, капитан пограничной службы, передав летчику от имени муниципали-

тета звездный флаг, бодро выкрикивал слова прощальной речи.

Девушки бросили в кабину летчика красные гвоздики в благодарность за автографы и улыбки. На береговой мачте рядом со звездным флагом взвился флаг с серпом и молотом, и летчик заставил мотор «Райт-циклон» взреветь со всей силой.

Билль поднял вверх большой палец — мотор работает хорошо! — и моментально прилип к окну. Ном уплывал вдаль, — прощай, Америка!

Командор Слепнев держит курс через Беринг стрит на «Сиберию».

Беринг стрит не сразу сдался знаменитому командору. Над Беринг стритом гуляли густые первоапрельские туманы, закрывая скалу Следж и мыс принца Уэльского, острова Диомида и гору Дежневского мыса.

Билль восхищенно смотрел на летчика, спокойно державшего штурвал. Быть спокойным в такую погоду! Билль еще не знал, что: «На Севере надо быть спокойным».

Пулей летела машина. Карта и приборы говорили, что пролив уже далеко позади и что «Флейстер» близко от людей на льдине. Но туман не редел и даже «окон» не было в нем. На стеклах появились сначала замерзающие капли, потом их стало накапливаться все больше и больше.

Слепнев повернул обратно.

Но он сделал посадку не в Номе. Солнце и ясная погода оказались ближе — над Тейлором, крохотным городком, лежащим прямо напротив островов Диомида.

На другой день перелет удался.

Ванкарем был попрежнему закрыт туманом, и потому Слепнев благоразумно опустился в Уэлене.

Здесь, как грозное предостережение, лежала большая машина, беспомощно увязнувшая крыльями в глубоком снегу лагуны.

От поселка, растянувшегося по узкой и длинной песчаной косе, занесенной снегом, бежали люди.

«Флейстер» подрулил к самой радиостанции.

Слепнев дружески жал руки Шеломову, Куканову, Людмиле Шрадер. Она тотчас же отстукала радиоключом в лагерь Шмидта, Ванкарем, Хабаровск, Москву, что: «Слепнев благополучно приземлился в Уэлене».

Вскоре снежные тучи закрыли Уэлен, и началась пурга.

Прошло два дня в пурге и ненастье.

Седьмые сутки нет вестей о каманинской группе.

В Ванкарем на собаках приехал Ушаков вместе с Леваневским и американским механиком Клайд

Армистедом. Они на торосах Колючинской губы, недалеко от тех мест, где обросшие бородами Конкин, Петров, Руковский ставили на ноги машину Ляпидевского, покинул свой «Флейстер», в точности такой же, как у Слепнева.

Леваневский хотел пробить туман, чтобы скорей достигнуть цели, но машина покрылась льдом. Угрожало падение с высоты трех тысяч метров.

Железная воля и самообладание Леваневского одержали победу. Машина, из тех, что в подобных случаях входят в смертельный штопор, удивительно спланировала и, не будь под ней торосов, она бы осталась целой... Но колючинские торосы срезали шасси.

Невредимыми вышли из машины Ушаков и Клайд. Только Леваневский сидел за штурвалом, опустив на грудь окровавленную голову...

Четвертого апреля стали расходиться низкие тучи над Уэленом, и едва края их успели уйти за дежневскую гору, оттуда показались два самолета.

Это были Молоков и Каманин.

Сделав по два круга, самолеты сели и подрулили к щегольскому «Флейстеру». Были они оба грязны и основательно потрепаны после двухнедельного тяжелого пути сквозь чукотскую пургу. Едва успели сесть самолеты, небо снова за-

Отто Шмидт в Номе на Аляске.

крылось хмурыми тучами, ветер переменился, и начал мести снег.

— Ну, мы с вами, видать, в особом списке небесной канцелярии значимся, — шутил Слепнев, приветствуя нас. — Видите, небо словно нарочно открылось... Полчаса назад отсюда унесло тучи к югу...

— Они попались нам в пути около Лаврентия, — подхватил Молоков. — Уж и покрутились мы в этом молоке. Ни черта не видно. Опять я Каманина потерял...

Выскочив из кабины на снег, я глубоко, с облегчением вздохнул. Итак, мы в Уэлене, так близко от ледяного лагеря.

Позади:
пурга над Пал-Палом,
потеря Демирова,
пурга в Анадыре,
пурга в Кайнэргине,
в Валькальтене,
одинокий Пивенштейн,
строгая, в одеянии высоких морен, бухта в фиорде Провидение,
ночь в новых домиках базы ГУСМП,
полет над мысом Чаплина,
островом Аракамчечен,
над культбазой в Лаврентии, где живут женщины из ледяного лагеря,

последняя встреча с беспросветными тучами.

Мы в Уэлене!..

Укрепив машины, ослепляемые ветром и снегом, потащили спальные мешки в дом радиостанции — там есть несколько свободных кроватей. Разместившись подвое, погружаемся в новое ожидание хорошей погоды.

За стеной работает Шрадер. То-и-дело меняются звуки: отрывисто стучит РАЕМ,[54] — Кренкель передает пилотам привет от Шмидта и от всех челюскинцев; заливисто пищит аварийный передатчик Ванкарема — Ушаков просит поскорей лететь; барабанит радист с мыса Северного, передавая очередную сводку погоды; нахально врывается на нашу волну ночной Сан-Франциско с веселой и легкомысленной передачей; подолгу стучит Петропавловск, передавая московские новости для лагеря Шмидта.

— Короче всех Кренкель, — шепчет Шрадер, — передает быстро и скупо, он бережет аккумуляторы. Ведь с пятого марта там не было ни одного самолета. Уже месяц...

Шумно входит Слепнев. Подает Людмиле малюсенький листочек — здесь экономят бумагу, как Кренкель аккумуляторы.

— Ответ Шмидту, — говорит он. — Отстукайте, пожалуйста, Людмила Николаевна.

Готово. РАЕМ найден в воздушной пустыне. Я

представляю себе хмурого широколицего Кренкеля — сидит в палатке, согнув в три погибели свою неудобную для палатки фигуру, и при свете фонаря «летучая мышь» записывает в радиожурнал:

Отто Шмидту

Спасибо за привет пожелания тчк Теперь-то уже будем у вас тчк Необходима ширина площадки не менее ста метров зпт длина четыреста тчк По возможности работайте над удлинением тчк Ширина наших лыж сорок снтм зпт длина два метра пятьсот тчк Задняя подкостыльная двадцать на шестьдесят снтм тчк Кромки трещин обязательно сгладить допустима ширина трещины 20 снтм очень опасны продольные забивайте их снегом тчк Ждите

Слепнев Каманин Молоков

Прошло еще три мрачных дня.

Уэлен, засыпанный снегом, не показывает признаков жизни. Чукчи лежат в теплых юроунгах, около жирников. Мы питаемся консервами, чтобы не ходить за километр на полярную станцию, где готовятся обеды.

Играем «в косточки», читаем, но больше мол-

чим. Молчим с досады на пургу, укравшую уже так много дней и вырвавшую из строя столько машин.

В ночь на седьмое пурга, наконец, затихла. Всплыла луна, задрожали в чистом небе яркие звезды.

Слепнев разбудил Билля:

— Слушай, Билль — с рассветом мы летим туда, к Шмидту. Вставай и грей гаргойль, мотор должен быть готов. Будь как ударник...

— Иес, сэр, — живо поднялся Билль и натянул бриджи, гетры, пеструю аляскинскую кухлянку. — Утарник, утарник... Уот из зис утарник?[55]

— Это значит — первый парень на деревне, — шутит Слепнев, — словом парень, всегда готовый поработать на совесть...

— О-о, сэр Слип, — улыбнулся Билль широким ртом, — к сожалению, в Америке очень многие не могут быть ударниками...

— Ну да, их там держат без работы вовсе. Ну, мальчик, иди...

В ту же пору, но несколько по-иному, поднялись и в нашей комнате Грибакин, Пилютов и Девятников, — быстро, молча оделись и ушли. Они же давно ударники и хорошо знают свое дело.

К рассвету готовы все машины.

Билль суетится с примусом, обогревая мотор. Вокруг стоят любопытные чукчи, кой-кто из них

перебрасывается с Биллем парой коверканных английских слов.

Их восхищает эта нарядная машина, блестящая лаком фюзеляжа. Они восклицают:

— Каккумэ! Америкэн! — И лишь вдоволь налюбовавшись «американкой», подходят к нашим зеленым «эрам».

Грибакину обидны их скупые взгляды на его любимый самолет, и он вдруг начинает убеждать:

— Поймите, что этот самолет хоть и некрасив сейчас, но ведь он пролетел через всю Корякию и Чукотку. И еще много-много полетит. И челюскинцев спасет. На льдину полетит. Он очень хороший самолет, он наш — советский, — горячится, увлекаясь, Грибакин. — А вот америкэн, такой вот один уже — камак, крест, каюк, там у Колючина...

Чукчи слушали и, делая вид, что отлично его понимают, тоже восклицали «Каккумэ» или «Э-эгге». Однако, за концы амортизатора они брались дружно, тянули изо всех сил и радостно смеялись, когда мотор чихал, пропеллер провертывался, болтнув лопастями, и вдруг исчезал из виду, поднимая бешеный вихрь.

Слепнева я не узнал. Где его веселость и добродушие? Сухой, подтянутый и строгий человек с обнаженной головой (в кабине тепло) сухо пожал

руку и быстро пролез в кабину. Следом, улыбаясь нам и чукчам, забрался Билль. «Райт-циклон» зарокотал, самолет скользнул и понесся первым в ледяной лагерь.

На полчаса позже улетели Молоков и Каманин, оставив за собой в солнечном воздухе апреля следок отработанного газа.

Счастливого, товарищи дорогие!..

• • •

Я остался в Уэлене. Один среди зимовщиков и чукчей ждать Пивенштейна со стороны юга и спасенных челюскинцев со стороны северо-запада.

Остаток дня прошел под тиканье хронометра на столе Люды Шрадер. И под биенье сердца...

Радио работало с Ванкаремом:

...Слепнев прилетел... Машина разгружена от лишнего горючего и готовится к полету в лагерь...

...Прилетели Молоков и Каманин... Машины разгружаются и сейчас летят в лагерь...

И с лагерем:

...В лагере прекрасная погода и прекрасное настроение. Ушли на аэродром большинство, даже Шмидт, которому немного нездоровится... Это пока секрет,—добавляет Кренкель...

И опять с Ванкаремом:

...Молоков и Каманин улетели... Но быстро вернулись... У Каманина маленькая неисправность...

...Слепнев вылетел...

На борту Ушаков и восемь собак Кривдуна...

...Молоков и Каманин вылетели вновь... Каманин летит со штурманом Шелыгановым.

Снова с лагерем:

...Ура...

Молоков и Каманин сделали чудную посадку...

Пять человек улетели с ними на берег... Но Слепнев... Слепнев... Слепнев...

— Что — Слепнев?..

Люда поднимает воспаленные глаза и кусает губы, тоже повторяя:

— Что Слепнев? Что Слепнев?.. Ах, тише, что-то мешает, опять этот Фербенкс, вот злодей. Тише, постойте... Кренкель...

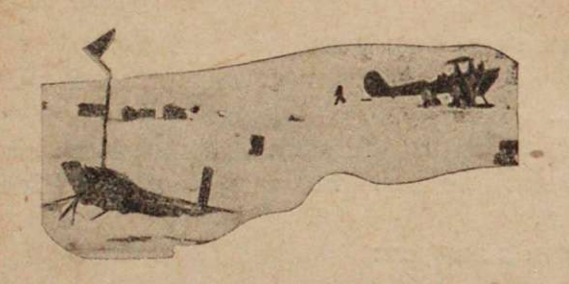
— Слепнев остается ночевать, — наконец, сообщает Люда, и в ее голосе дрожит обида на Кренкеля: — Такой упрямый, не хочет сказать подробно, что там случилось у Слепнева...

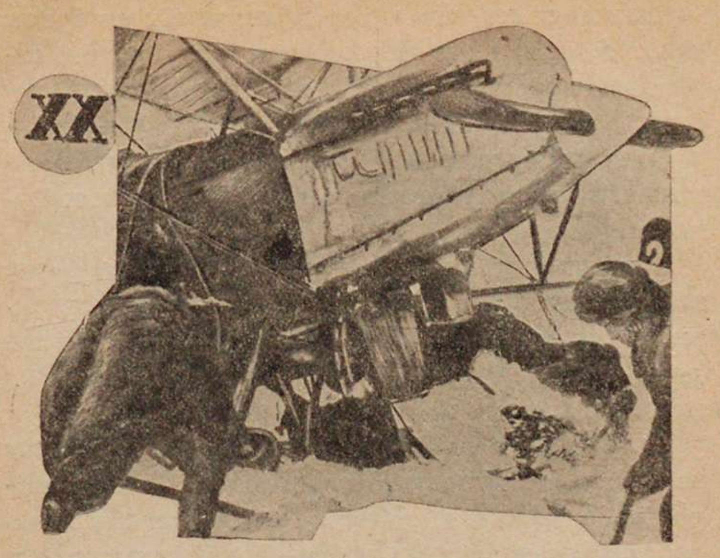
Кренкель молчит.

Молчит Ванкарем.

Спустилась ночь, лунная, полнозвездная. И во всю эту прекрасную ночь нас мучит вопрос:

— Что же случилось у Слепнева?





Пять десятков дней на льдине
Просидели челюскинцы...
Подлетали ближе птицы,
Приближалась помощь ближе.
Все готовились к отлету,
Чаще разговор о травах,
О цветах и о деревьях,
Чаще планы о курорте
И об отдыхе в деревне,
Чаще мысль о встрече с милой...
(Стенгазета „Не сдадимся“).

САМОЛЕТ Слепнева летит в лагерь. В кабине Ушаков и восемь собак. Билль остался в Ванкареме.

Слепнев знает, что через сорок минут он будет, наконец, там, куда так спешил, преодолевая огромные пространства Европы, Атлантики, Америки.

Сюда спешили и Молоков, и Каманин, и Пивенштейн, воюя с туманами и пургой Корякии и Чукотки.

Сюда спешат, прокладывая новую и никем еще не летанную трассу: Хабаровск—Ванкарем — шесть тысяч километров — Миша Водопьянов, старый друг Слепнева по Чукотке Виктор Галышев и якутский известный летчик Доронин.

Под быстро несущимся «Флейстером» лежит необозримый хаос полярных льдов. Ослепительно белое пространство торосистых пустынь лишь изредка разнообразят черные пятна разводий и трещин.

Слепнев следит за компасом и хронометром. На тридцать шестой минуте полета он поднимает глаза от приборов и, прищурившись, смотрит вперед. Вот и он, этот знаменитый лагерь — как все просто!

В двух милях справа от линии курса стелется дым сигнальной будки, на вышке трепещут флаги.

Две кучки людей около палаток и на аэродроме, расцвеченном флагами «Челюскина», бросают вверх шапки и рукавицы в честь первого летчика, прилетевшего в апреле.

От лагеря к аэродрому, через торосы, змеится узенькая тропа. По ней еще сегодня ходили челюскинцы счищать заструги и забивать снегом щели и трещины на своем четырнадцатом аэродроме.

Внимательно рассматривает пилот площадку, где чернеет «Т».

— Аэродромчик как-раз для моего «Флейстера», — иронизирует Слепнев.

Надо садиться, а как садиться на треугольную площадку длиной в четыреста метров, обнесенную высокой стеной торосов?

Слепнев делает четыре задумчивых круга, спускаясь, однако, все ниже-ниже-ниже... Потом махнул, оглянувшись на Ушакова, рукой и, увидев такой же жест, решительно пошел на посадку.

Блистательный «Флейстер», рассчитанный на чистенькие и просторные аэродромы Аляски, идет на посадку как пуля. Он к тому же «слепой» для пилота, когда несется, расчесывая тормозными пальцами лыж снежную поверхность площадки.

Слепнев перестал видеть аэродром, прикоснувшись к нему, он только ощущал плавный бег самолета.

И этот бег окончился слишком быстро. Площадки нехватило. «Флейстер» наскочил на торосы и задрал хвост, блеснув лаком фюзеляжа. Снова выпрямился, хрустя по обломкам торосов, пе-

репрыгнул через другую ледяную гряду и, наконец, остановился.

Челюскинцы, вместе со Шмидтом, с бледными лицами бежали к самолету. К горечи неудачи прибавлялась тревога за пилота. Жив ли?

Но Слепнев вылез из кабины невредимый.

— Сделал все, что мог, Отто Юльевич...

— И даже больше, — облегченно улыбнулся Шмидт...

Завизжали и загавкали веселые собаки. Выскочил Ушаков, отбрасывая на ходу отороченный волком капюшон кухлянки.

Слепнев, осмотрев машину, громко сказал:

— Я от вас все-таки улечу. Но если мы здесь сумеем сшить стабилизатор — он лопнул пополам...

— Что же, у нас в лагере, пожалуй, найдутся мастера, — сказал Шмидт, а пока что, товарищи, давайте-ка машину возьмем на руки и оттащим к палатке, — там спокойнее.

Ушаков заметил, что Шмидт тяжело дышал и на его бледном лбу выступала испарина пота. Он глушил ладонями кашель.

— Отто Юльевич, да ведь вы больны.

— Что вы, что вы, — отмахнулся Шмидт, — пустяк, простуда... Вот за собак вам спасибо. Мы теперь все ценное из лагеря сюда перевезем. Приборы, имущество. А то ведь все-таки шесть кило-

метров торосистой тропой... Умаялись люди, хотя об усталости никто и слова не проронит. Ну, что ж, будем ждать Каманина и Молокова?

— Мы их встретили, они, не знаю почему, вернулись в Ванкарем. Не советую вам ждать.

— Хорошо. Тогда давайте пойдем в лагерь. Пусть Слепнев не беспокоится. У нас есть, я убежден, хорошие мастера, они сошьют его стабилизатор.

«Флейстер» с помятым хвостом стоял уже около палатки «тройки черных».

В ней теперь жили только двое. Валавин уже на берегу. Пять дней назад они с Бабушкиным улетели на своей «шаврухе» в Ванкарем.

Лагерные мастера Мартисов, Бармин и Фетин уже снимали лопнувший стабилизатор, ругая на чем свет стоит раскрасавицу «американскую катерину», как успел прозвать «Флейстер» капитан Владимир Иванович.

Слепнев, Шмидт, Ушаков, Баевский возвращались в лагерь.

За ними следом боцман Загорский, вспоминая старинку, погонял упряжку собак. Он давно уже всем успел рассказать о своем старом знакомстве с чукотскими псами. Боцман зимовал в двадцать девятом на «Ставрополе», зажатом льдами. На собаках тогда он перебирался на берег и каюрил остаток зимы на Северном.

Когда люди и упряжка уже подходили к лагерю, в воздухе послышался моторный гул, и высоко в небе, со стороны Ванкарема, показались две точки. Шмидт повернулся и сделал шаг назад:

— Вот и они... Ах, Георгий Алексеевич! Как жаль, что мы ушли, а теперь уже поздно возвращаться, если только они тоже не очутятся за ропаками.

— Ничего, Отто Юльевич, вы их еще увидите не раз, — сказал Баевский. — Вам, мой дорогой, надо отдохнуть. Итак, наша первая очередь сегодня будет на берегу...

Самолеты кружились над лагерем. Там и сям слышалось «ура», далеко разносившееся над льдами. Вот они пошли на посадку и скрылись за торосами.

Из открытых кабин вылезли молчаливые летчики. Просто, без лишних слов, они сказали:

— Для начала мы возьмем по три человека, усаживайтесь товарищи, а мы осмотрим площадку.

Летчик помоложе оказался Каманиным. Второй, у которого серебрились уже волосы, — он, закурив белую трубочку, снял шапку, — Молоков.

Подобрав под себя длинные полы малиц и распрощавшись («Пока, до скорого свидания!»), — сели в кабины самолетов первые из мужчин, по-

кидавшие лагерь на пятьдесят четвертый день ледяного плена.

Самолеты поднялись и улетели. И пока не скрылись из глаз, вслед им молча смотрели челюскинцы...

— Вот они, наши орлы, родные, — нарушил, наконец, молчание капитан, пригладив дрогнувший ус. — Это вам не «катерина», что нарядом своим хороша только... Да-с, товарищи...

— Ура советской авиации! — отозвался Погосов, и его голос потонул в дружном «ура», загремевшем так, что, казалось, льдины звенят и рассыпаются.

● ● ●

По лагерю ходят гости.

Им показывают майну, где погиб «Челюскин», барак, расколотый надвое, бензиновые светильники, бутылочные окна, «ванну» в палатке, где жили пятеро с Копусовым во главе, томик «Гайаваты», одну из немногих спасенных при катастрофе книг, зачитанную до дыр, и стенгазету «Не сдадимся» с наклеенными на ней листочками «Ледовой Гайаваты».

Ее-то и читает вслух Ушаков.

ДИАМАТ.

(Песня первая).

В ропаках, в Чукотском море,
На вершине трех торосов,

Он стоял — владыка ГУСМПа,
Отто Монито могучий —
И с вершины трех торосов
Созывал народ палаток,
Созывал народ барака.

●

От тороса взявши льдинку,
Из нее он сделал трубку —
Голубую трубку мира —
И на ней зарубу сделал,
И на майне у барака,
Дымовой сигнал поставив,
Закурил он трубку эту,
Всех сзывая на собранье.

●

Дым струился тихо, тихо
В блеске солнечного утра:
Прежде — темною полоской,
Позже — гуще, синим паром.
Наконец, коснулся неба,
Раскатился над Чукоткой.
От палатки кочегаров,
От палатки машинистов,
От матросов, от ученых,
От барака, от радистов —
Все и всюду увидали
Дым призывный трубки Отто.

●

И старшие всех палаток:
Кочегаров, машинистов,



Больной Ал. Бобров на нарте отправляется к пароходу.

И матросов, и ученых,
И барака, и ропаков
Закричали: „То — наш Отто!
Этим синим буйным дымом
Он сзывает на собранье,
На совет нас созывает“...

•

От палаток, от барака,
Через торосы, чрез майны,
В теплых малицах оленьих,
В кожтужурках, в ватных куртках,
В торбазах, в ботинках крепких
Шли старшие всех палаток.
А за ними — кочегары,
Машинисты и матросы,
Журналисты от „Известий“,
От „Вечерки“, „Комсомолки“,
Шел зам Отто Меджикивис,
Аэролог Жирнопупов,
Шел хитрейший Попокивис —
Повелитель всех циклонов
От Камчатки до Аляски.
Шел веселый Гайавата,
Пылкий „пом“, любимец общий;
Шел старейший из партийцев
Алексей Бобер редчайший,
А за ним спешили в ногу
Представители науки
Во главе со Хмызей с Яны.
Позади всех снег топтали
Штурмана — народ сонливый.
Все спешили, как умели —
Пред лицо владыки ГУСМПа.

Отто Юльевич могучий,
Севморпуть создавший людям,
Поглядел на всех с участьем,
Очень жалостно, с любовью.
Поглядел он на „махистов",
А потом — идеалистов,
Механистов, прочих „истов",
Диалектики не знавших.
И величественный голос,
Голос, шуму вод подобный,
Шуму многих сильных сжатий,
Прозвучал ко всяким „истам".

●

— Вам дан разум и сознанье,
Вы учились в многих вузах,
На рабфаках, в институтах.
Вы росли в Стране советов,
Воспитавшей вас с любовью
Для того, чтоб помогали
Вы в делах ее великих.
Почему же, как слепые
Двухнедельные щенята,
Вы блуждаете в потемках
На путях наук всех ваших?
Ваша сила — в диамате.
Он укажет путь в науках,
Он наставником вам будет.
Всем его законам мудрым
Вы должны внимать
покорно —
И умножатся науки,
Достиженья и открытья,
Что вас ждут, когда вернетесь

В край родимый, в край
Советский.
Если ж будете вы глухи,
Вы останетесь „чем были“! —
Так сказал владыка
ГУСМПа —
Отто Монито могучий...

• • •

Весело хохочет Ушаков, читая и узнавая Баевского — в Меджикивисе, метеоролога Комова — в Попокивисе и в Гайавате — Ваню Копусова. Рядом тихо, в рукавицу, смеется монгололицый полярный соавтор Лонгфелло — Сергей Семенов.

День кончился, и над палатками зажглись звезды.

В жилой половине барака соперничали со звездами бензиновые светильники, изобретенные ловким Колесниченко. Вновь собравшись, «народ палаток и барака» слушал докладчика с «Большой земли».

Ушаков говорил о Семнадцатом съезде большевистской партии, о докладе Сталина, о новостях из кипучей Советской страны. Слепнев рассказывал об Америке, показав себя острым наблюдателем.

Ночное бдение закончилось веселым и долгим — до рассвета — чаепитием в палатке Баевского.

Утро сулило погожий день, но ветер усилился, изменив направление.

Ветер «резал», как говорил Слепнев, строго поперек аэродрома. Принять самолеты Молокова и Каманина нельзя.

Слепневская машина стоит пока без хвоста. Лагерные мастера плотницким коловоротом сверлят новые сорок пять отверстий для заклепок.

Вчерашние «гости» — сегодня пленники ледяного лагеря.

Слепнев остался в аэродромной палатке, — поближе к самолету, а Ушаков проводил время у Шмидта, с тревогой подмечая, как он, силясь казаться бодрым и веселым, с трудом скрывает признаки разгорающейся болезни. Это заметили уже и многие жители лагеря. Тревога за здоровье Шмидта охватила весь лагерь.

● ● ●

Наступила ночь на девятое апреля.

Слепнев спал, как все, чутким, настороженным сном.

В глухую полночь палатку резко толкнуло, — все мигом вскочили:

— Сжатие? — спросил Слепнев.

— Конечно, сжатие, — ответил Погосов, — у Факидова еще вчера ртуть в приборе места не находила...

Толчок повторился, и за палаткой послышался грохот.

— К самолету! — крикнул Слепнев и выбежал вон из палатки.

На мгновение он застыл, пораженный феерической красотой невиданного зрелища. Ледяной вал, грохоча и сверкая в ярком свете луны, катился на аэродром.

Сердце Слепнева больно сжалось, когда ледяное чудище стало ломать и карежить площадку.

Пилот крепко стиснул зубы, видя, как вал приближается к самолету, и не двинулся с места, готовясь погибнуть вместе со своей машиной, и... вал остановился.

Осторожно ходили люди по аэродрому, осматривая трещины. Их оказалось четыре шириной в метр, а весь аэродром покрывали бесчисленные новые ропаки. Чтобы сколоть их, понадобился бы не один день упорной работы...

Вскоре пришли люди из лагеря. Разрушения там были еще большие, чем здесь. Барак, в котором позавчера делали свои доклады Ушаков и Слепнев, лежит в развалинах — его смял ледяной вал. Превращен в щепки один из спасательных вельботов. Трещины появились почти под каждой палаткой.

Не выдержала, сдала факидовская льдина. Это

сжатие было сильнее того, от которого погиб «Челюскин».

К счастью, нетронутым оказался запасный аэродром.

Туда через торосы потащили самолет и все имущество с разрушенного аэродрома.

Вооружившись топорами, ломами и кирками, две бригады рубили торосы. Через широкие трещины во льду перебрасывали ледяные же «мосты».

Третья бригада по этой «дороге» тащила тяжелую «американскую катерину».

За полдня протащили самолет на два километра.

Оставалось еще столько же. И вдруг — злая и коварная стихия буквально пошла навстречу своим неустрашимым пленникам. Ледяное поле нового аэродрома пришло в движение. Все боялись, что начинается новое сильное сжатие, но случилось нечто совсем непредвиденное — поле с аэродромом приблизилось почти на целый километр.

С новой силой люди бросились рубить торосы.

К вечеру самолет стоял уже на новом аэродроме — льдине, представлявшей собой неправильный пятиугольник.

На следующее утро стабилизатор был постав-

лен на место. Слепнев, осмотрев его, остался доволен.

Герои дня — Мартисов, Бармин и Фетин — гордо расхаживали по льдине.

— Вот вам, пожалуйста, не только бачки для щей, ложки, ковши и прочую ерундовину можем делать, чорт побери, разве не мы выпустили из капитального ремонта американский самолет и летчик им доволен.

Мотор был отлично прогрет и запустился быстро.

Весело попрощавшись, Слепнев усадил в кабину, кроме Ушакова, пятерых. Из Ванкарема уже сообщили, что Молоков и Каманин вылетают в лагерь.

Погода чудесная.

— Ну, всего доброго, дело, кажется, того — на полной смазке, — прощаясь со Слепневым, картавил Копусов.

«Флейстер» едва успел растаять на горизонте, как показались два других самолета. Федя Решетников весело провозгласил:

— Алло, товарищи, покупайте билеты! Линия регулярного сообщения — Лагерь Шмидта — Земля — открывается!

Молокова и Каманина встретили как старых знакомых и только спросили:

— Сколько?

Молоков ответил:

— Пять.

— Куда же столько?

— А по одному вот сюда, — и он спокойно показал на овальные ящики грузовых парашютов. — Свободная жилплощадь, вполне удобная, я нарочно просверлил отверстие, чтобы пассажир мог поскорей увидеть берег.

— Что-то боязно, — признался «очередной» пассажир, механик Антон Пионтковский.

— Что вы, самое безопасное место, — уверяет Молоков, — лучшее место, если хотите.

— Ничего, дядя Антон, пробуй, — советуют остальные, — да нам по радио сообщи...

— Эх, была не была.

— Правильно, чего там, — подоспел Погосов. — Устраивайся, товарищ Пионтковский. А кто в другой?

— Я, — твердо ответил матрос Сергеев.

— Ну, валяй ты.

Все готово. Ящики закрыты. Молоков заглядывает в просверленный «глазок»:

— Ну, как там у вас?

— Хорошо, очень даже удобно, — слышится голос дяди Антона.

— Отлично. Тогда летим. Думаю еще раза два прилететь, — сказал Молоков Копусову и сел за руль.



И.В.ДОРОНИН

• • •

В Ванкареме оживление, невиданное на этом пустынном кремнистом мысу.

В «гончарках» всегда кипит вода. Механики сливают в бидоны готовый к заправке бензин. Тут же, сменив лосиновые белые перчатки на чукотские рукавицы из камуса,[56] работает «утарник» Билль Левари, потерявший своего шефа где-то на льдине.

Кривдун, бородатый, добродушный человек, лет шесть живущий среди чукчей, еще раз обходит яранги, где готовится ночевка для спасенных. Там чукчанки моют и чистят юроунги, меняя пучки душистой сухой травы. Чукчи запрягают собак, чтобы везти здоровых челюскинцев дальше, в Уэлен. Из тундры, с гор приехали на шести упряжках чаучу. Они пригнали десять оленей для питания челюскинцев.

Но вот со льдины прилетает сначала Слепнев, и Билль бежит встретить командора. Он, улыбаясь, скалит зубы и кратко восклицает:

— Вэри вач,[57] сэр...

Потом прилетают Каманин и Молоков.

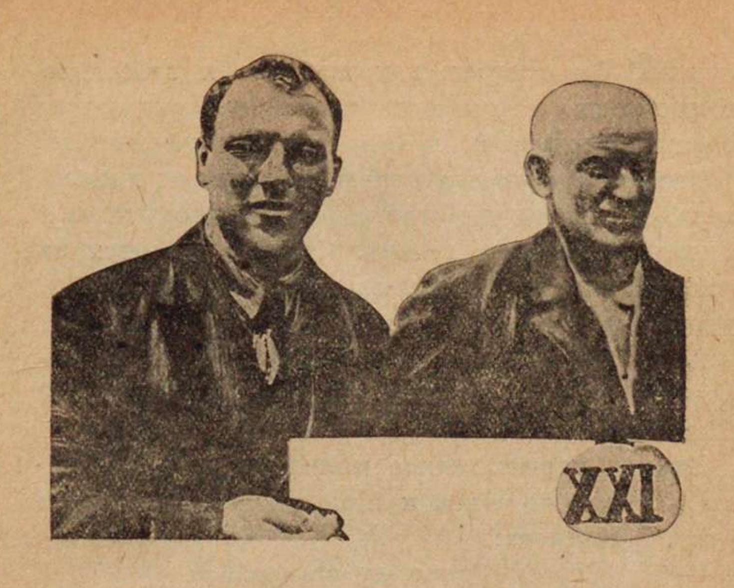
Удивление Билля безгранично, как и удивление чукчей, когда из ящиков, подвешенных под крыльями, вылезают люди.

— Хорошо, право, — басит Антон Пионтковский. — Ну, спасибо, товарищ Молоков.

— Вэри вач... Вэри вач... — качает головой пораженный Билль.

— Каккумэ... Каккумэ... — восхищенно шепчут чукчи и хлопают себя по животу...





ПОЗАВЧЕРА в сумерках Молоков прилетел в четвертый раз в лагерь.

На аэродром Загорский пригнал из лагеря упряжку. На нарте лежал с полуоткрытыми глазами бледный Шмидт. Температура у него тридцать девять градусов. Сзади шли Володя Задоров, Ваня Копусов, Толя Колесниченко, Федя Решетников. В лагере оставалось всего три десятка людей.

Молоков сидел в своей кабине, не выключая

мотора. Он смотрел, как любовно и заботливо челюскинцы устраивали в кабину, устланную оленьими шкурами, своего больного начальника.

Чтоб не тронул его морозный смерч от пропеллера, целая группа стояла у плоскости, загораживая его своими телами. Кто-то опустился на четвереньки, чтобы другие, встав на него, могли удобней и спокойно поместить Шмидта.

А потом залез доктор Никитин в своей огромной малице и как наседка накрыл собой Шмидта.

Царило торжественное молчание. Только Сашко Погосов подошел к Молокову и, пожав его руку, прошептал:

— Ну, Сергеич, пока, до завтра...

Молоков дал газ. «Синяя двойка» быстро ушла в воздух.

Шмидт долго боролся против этого внеочередного отлета.

Из Москвы в этот день приняли три телеграммы Куйбышева. Он предлагал Шмидту передать экспедицию Алексею Боброву и улететь в больницу Нома. Он убеждал:

> *Правительство поставило перед всеми участниками помощи челюскинцам с самого начала задачу спасти весь состав экспедиции и команды. Ваш вылет ни на йоту не*

уменьшит энергии всех героических работников по спасению, чтобы вывезти на материк всех до единого. Со спокойной совестью вылетайте и будьте уверенны, что ни одного человека не отдадим в жертву льдам.

И все-таки Шмидт не хотел сдаваться. Только новый и твердый приказ правительства заставил его подчиниться.

● ● ●

Вчера в два часа тридцать минут дня нашего, уэленского, времени мы услышали гул «Райт-циклона», а потом высоко в ярком небе увидели черное тело и красные крылья «Флейстера». Самолет промелькнул над Уэленом как видение и скрылся за дежневской горой по пути в Ном.

В кабине самолета лежал Шмидт, а рядом на двух креслах сидели Ушаков, Армистед и белобрысый Билль, улетавший к себе на Аляску со странным чувством сожаления...

● ● ●

В этот миг в Ванкарем прилетел Водопьянов, и Женя Силов передавал Люде Шрадер:

«У него машина в точности, как у Молокова и Каманина, только утеплена так, что он летает в

простых тонких чесанках и кожаном пальто. Задняя кабина закрыта, как лимузин. Он без труда перелетел из Анадыря через хребет путем, по которому Молокова и Каманина не пустила пурга. Только Ванкарема сразу не нашел и улетел на Северный, где и ночевал. Сейчас он уже разгрузил машину и торопится в лагерь... Вот уже улетел... Так рвался туда, ужасно...»

А под вечер мы уже узнали, что он дважды успел в одиночку слетать в лагерь и вывез на берег семерых челюскинцев.

Ночь наступила все же раньше, чем самолеты успели слетать в лагерь еще по разу. И на льдине остались шестеро последних: Бобров, Воронин, Кренкель, Сашко Погосов, врангелевский радист Иванов и боцман-каюр Загорский с упряжкой собак.

— Страшно за них, — волнуется Шрадер и готовится не спать в радиорубке еще одну ночь. — А вдруг погода изменится там и завтра нельзя будет лететь — пурга или аэродром сломает, что тогда?..

Лишь забрезжил рассвет Водопьянов первым вылетел в лагерь. Но через два часа он вернулся ни с чем.

Стоял штиль, зловещий предвестник пурги. Туманная дымка стлалась от Ванкарема в море, застилая лагерь. Водопьянов не нашел лагеря.

Только к полудню солнце растопило эту дымку, и горизонт очистился.

В стрекоте радиостанций, перекликающихся между собой, я легко различаю Ванкарем, его заливисто-хлопотливые точки-тире. Люда переводит их на понятный мне язык.

— Сейчас два пятнадцать московского,[58] — пищит Ванкарем, — три самолета вылетели и сейчас будут в лагере Шмидта. Летят Молоков, Каманин, Водопьянов.

Всего хорошего, счастливо долететь...

Люда подпрыгивает на стуле и нервно тянется за новой папиросой. Ломает. Берет другую. Она радостно смотрит на меня слезящимися и окруженными глубокой синевой глазами — следами бессонных ночей — и говорит на этот раз громко и звонко:

— Ах, чорт возьми, как я рада! Какое счастье! Сейчас Кренкель будет убираться со льдины, и, наверное, вечером я его увижу. Ай-да Молоков, ай-да Каманин, ай-да Водопьянов, — она почти поет. И вдруг какие-то новые точки-тире, постукивая в репродукторе, возвращают ее к молчанию, к рычагам настройки...

Я сижу безмолвно, но она просит:

— Тише, тише...

Проходят две... три... пять минут... Молчание... Но вот какой-то хрип.

— Ах, ч-чорт, — злится Люда, — опять этот Фербенкс.

У них там радиополдник, и хриплый баритон рычит какую-то песенку...

Люда вскакивает и страшно ругается по адресу баритона. И он, словно напуганный ее грозными жестами, проваливается в тишину...

Еще минута молчания...

Брови Люды соединяются над переносицей, она вся уходит в слух — слышны знакомые энергичные удары ключа рукой Кренкеля:

ВСЕМ,
ВСЕМ,
ВСЕМ...

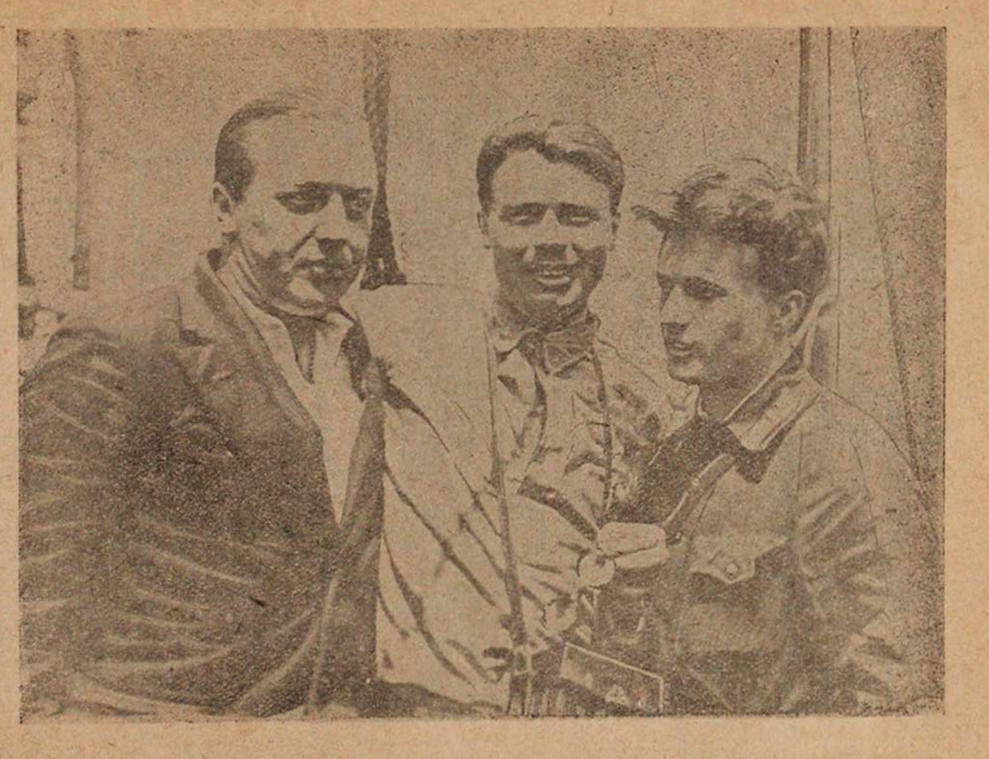
Самолеты прилетели благополучно. Через три минуты мы уходим... последние шесть. Снимаю передатчик. РАЕМ... РАЕМ... Конец... Конец... Здесь никого больше нет... РАЕМ...

Весь Уэлен на лагуне. С лопатами. Чукчи, зимовщики, служащие рика, мы — механики и мотористы авиационной базы.

Готовим чистый и мягкий, как пух, аэродром, очищая и разрыхляя затвердевший снег.

Куканов и Куров выкладывают посадочное «Т» и флажками обозначают границы дорожки.

Чукчи, как всегда, первые замечают точку над мысом и поднимают крик:



Н. П. Каманин (справа), П. Кулыгин и Я. Гаккель, картограф геодезист экспедиции на «Челюскине», в день возвращения во Владивосток.

— Самолет, самолет...

Через пару минут точка становится видна всем — летит «Р-5». Пока один. Кто же это? Молоков, Каманин или Водопьянов?

Бежим, не бросая лопат, на край лагуны, к радиостанции, куда обычно подруливают машины.

Навстречу от радиостанции мчится, увязая в снегу кожаными сапогами, раскрасневшаяся Люда. Полушубок нараспашку, уши огромной мужской шапки хлопают по плечам.

Самолет делает круг и показывает на миг борт с белыми цифрами, которых нет на машинах Каманина, Молокова.

Это, значит, Водопьянов. Посадку он сделал прекрасно, подле самого «Т». Мы тотчас же окружаем самолет.

Водопьянов вылез, сдвинул очки на козырек шапки, распутал веревочки, связывающие полы кожаного мехового пальто, чтобы не болтались, и, поскрипывая вставной челюстью, радостно произносит:

— Вот и я в Уэлене. Да с кем? С челюскинцами! Поздравляю, товарищи. Ах, как все это хорошо...

— Самолет, — снова проносится по толпе, и мы видим прямо над головами «синюю двойку».

Из кабины водопьяновской машины между тем

вылезли трое бородатых и загорелых людей с блестящими глазами. Их бережно приняли на руки и помогают выбраться из длиннополых малиц. Все молча жмут им руки, странное чувство охватывает всех — хочется сказать что-то особенное... необычное...

Молчание нарушает Молоков, подруливший в ряд с водопьяновской машиной.

Все бросаются туда и помогают вылезти еще троим.

Прилетели: Воронин — высокий, крепкий, с его обмороженного лица сползает кожа, худой и бледный Сергей Семенов, весь в кожаном — Ваня Копусов, Илья Баевский, два Ивановых — радист и моторист, а из парашютного ящика вытащили больного Белопольского.

— Сима, Симочка, — закричала вдруг Люда, увидев бородатое и курносое лицо радиста, старого знакомого по ученью.

Иванов бросается навстречу Люде и крепко обнимает ее.

Все улыбаются. Стало сразу как-то проще, легче...

Подбегаю к «синей двойке» и вспрыгиваю на знакомую подножку. Молоков тихо сидит в кабине. Навстречу мне улыбаются его милые голубые глаза.

— Ах, браток, привет-привет. Ну, вот и все

кончено. Жалко, что Фариха нет, посмотрел бы он, как наши «Р-5» работнули. Все наши шлют тебе поклон. Ну, а что слышно о Пивенштейне?

Шоломов, секретарь райкома, забравшись в своей огромной кухлянке в заднюю кабину, сняв шапку, открывает неожиданный митинг.

Человек, всего пять часов назад покинувший ледяной лагерь — капитан Воронин, осторожно утирая пот с лица, рассказывает о последней ночи на льдине.

— Говорят, что даже летчики в Ванкареме опасались за судьбу нас шестерых, оставшихся в лагере. Но мы сами, дорогие товарищи, и лично я не тревожились. Наши советские орлы-летчики за эти три-четыре дня работали так прекрасно и смело, что мы, ни разу не терявшие веру в них за два месяца, проведенные на льдине, спокойно вверяли им нашу жизнь до конца.

— Мы были убеждены в своем спасении. И это не громкая фраза, товарищи — я до конца дней своих буду гордиться своей страной, ее вождями, могущественной коммунистической партией.

— Вот с каким чувством остались мы вчера в лагере.

— Тихий он был, пустынный. Мы с Алексеем Николаевичем Бобровым весь его обошли, из палатки в палатку. На фанере, на досках, всюду, где только можно было, вырезано и выжжено

«Челюскин» 1934 год». Это памятник о нас, оставшийся во льдах. Интересно будет для науки, где через год или через два кто-нибудь найдет остатки нашего лагеря.

— Лагерь, где мы спасались от гибели, где пережили много опасностей, все покидали спокойно и, пожалуй, с каким-то чувством сожаления — хорошей он был школой для всех. Порядок-то ведь был какой у нас.

— Я вспомнил, как непохож был наш лагерь на все лагери буржуазных экспедиций, которые приходилось встречать во льдах. Вот, помню, видел я в 1929 году на Земле Рудольфа лагерь одной американской экспедиции... Все разбросано, раскидано... Чувствовалось, что здесь царили паника и уныние.

— Обошли мы ночной и пустынный наш лагерь.

— Тихо. Вдруг Алексей Николаевич услышал какую-то возню у «дворца» матросов — так мы звали эту благоустроенную большую палатку. Что, думаем, такое?

— Подошли к распахнутой двери и рассмеялись. Мы забыли, что Загорский поместил там наших друзей — восемь собак, оставшихся с нами в лагере на последнюю ночь.

— Саша Погосов и Сима Иванов ушли на аэродром и ночевали там, а мы, хорошо поужи-

нав (у нас еще много оставалось продовольствия), разбрелись по своим палаткам заснуть.

— Но никто так и не спал в эту ночь. В моей палатке горел фонарь. Лежал я и думал о нашей жизни, такой необыкновенной...

— Часа в три разжег примус, вскипятил чаю, вымыл чашки, все подобрал, приготовил палатку к расставанию.

— Я помор архангельский, а у нас, поморов, обычай такой есть, чтобы, уходя, оставить за собой все в порядке. И я оставил в палатке все, что могло бы пригодиться случайно забредшему человеку. Потом вышел наружу.

Уже светало. Утро обещало быть хорошим, только поднимался ветерок да лед легонько потрескивал. Но беспокойства это явление не вызывало.

— Иду в палатку Кренкеля и Боброва. Кренкель уже связался с Ванкаремом, и оттуда передают, что самолеты готовятся.

— Первым к нам вылетел Водопьянов, но утро после рассвета неожиданно затуманилось, и он нас не нашел.

— Время шло к полудню. Но наша вера в то, что самолеты прилетят, не ослабела. И верно — передает Ванкарем, что летят к нам три самолета сразу.

— Стали мы собираться. Вышел я из палатки.

Заколотил вход в нее доской... Эх, смотрю, — забыл шапку. Оторвал доску, снова заколотил. Глядь, — забыл рукавицы. Волновался что-то. Жаль было палатки, где прожиты столь яркие дни жизни. Отодрал доску и заколотил палатку в третий раз.

Гляжу — самолеты кружатся уже над нами, красавцы, и садятся на аэродром.

— Загорский впряг собак в нарту и уложил наши вещи — судовые инструменты да приборы.

— Кренкель притащил свой передатчик...

— Ушли из лагеря на аэродром, то-и-дело оглядываясь назад — навсегда хотелось запечатлеть лагерь, над которым так и остался советский красный флаг.

— Но вот перелезли через последние торосы, и перед нами наши чудесные птицы. Бегут к нам навстречу наши родные герои-летчики, помогают дотащить имущество.

— Каманин с Загорским стали заталкивать в парашютные ящики собачек. Ничего, повизгивают, но лезут. Чуют, что возвращаются на родную землю.

— Через пять минут мы были уже в воздухе, над лагерем. Я сел вот в эту самую машину, к Василию Сергеевичу — нашему дорогому и любимому, — честь ему и слава.

Сделали два-три круга, прощаясь с лагерем, и полетели к земле.

Я совсем высунулся из кабины, лицо жег ветер, вот и обморозился, но уж очень хотелось посмотреть на состояние льдов, которые уничтожили наш «Челюскин». Через час мы были в Ванкареме, а вот сейчас, как видите, в тот же день, уже и с вами, в Уэлене.

— Радости столько, что никаких слов нехватит рассказать. Скажу одно — подвиг наших летчиков это новая зарядка нам, полярникам.

— «Челюскин» раздавлен, но челюскинцы и летчики победили злую стихию!

— Мы будем теперь, не щадя жизни, которую нам вернула родина, биться за то, чтобы Северный морской путь освоить вполне. И совсем!

— Честь и слава товарищу Сталину, который среди великих дел страны находил время руководить нашим спасением! Честь и слава нашей великой родине, не оставляющей в беде своих сыновей, имеющей таких героев, как товарищи Молоков, Каманин, Ляпидевский! Честь и слава им, храбрым и бесстрашным!

● ● ●

...Ночью Люда принимала от Петропавловска радиограммы.

— Их здесь сотни,—сообщал Петропавловск,—

для челюскинцев, для летчиков и для всех. Нет сил передать все сразу, но вот эти примите немедленно...

В соседней комнате спит Сима. Он завтра сменит, наконец, одинокую Люду на вахте.

В радиорубке сидит Молоков, он держит в руках радиограмму своей Наде в Красноярск.

Тут же на уголке стола Водопьянов пишет радиоотчет о своих полетах в «Правду».

Я стою в нетерпении за спиной Люды и, нарушая всякие правила, читаю вслух все, что она успевает принимать:

> *Из Москвы. 13 апреля, 19 ч. 14 м. Радио Уэлен Ляпидевскому Леваневскому Молокову Каманину Слепневу Водопьянову Доронину... Восхищены вашей героической работой по спасению челюскинцев. Гордимся вашей победой над силами стихии...*

Водопьянов бросил писать и насторожился. Молоков приставил к уху ладонь. Люда пишет, я читаю:

> *...Рады, что вы оправдали лучшие надежды страны и оказались достойными сынами нашей великой родины. Входим с ходатайством в Центральный исполнительный ко-*

митет СССР двоеточие первое об установлении высшей степени отличия, связанного с проявлением геройского подвига, — звания „героя Советского союза“ второе... о присвоении летчикам Ляпидевскому Леваневскому Молокову Каманину Слепневу Водопьянову Доронину непосредственно участвовавшим в спасении челюскинцев звания „героев Советского союза“... третье... о награждении орденом Ленина поименованных летчиков и обслуживающих их бортмехаников и о выдаче им единовременной денежной награды в размере годового жалования

И. Сталин В. Молотов
К. Ворошилов В. Куйбышев
А. Жданов.

Люда бросает на наших героев восторженный взгляд, но Петропавловск стучит, и она в первый раз жалеет о том, что ей нельзя оторваться. Она принимает новые и новые радиограммы...

Зато я с гордостью первым жму жесткие, теплые руки Молокова, Водопьянова, руки первых героев Советского союза...

Водопьянов что-то невнятно шепчет, слышно только:

— Здорово это, чорт возьми, — и взволнованный до предела уходит.

Молча уходит и Молоков...

Я, сняв копию с радиограммы, бегу в райком и там сижу за полночь, печатая, наклеивая и разрисовывая стенгазету о героях Арктики со статьями Молокова, Воронина, Баевского, Водопьянова, Семенова. Утром она будет висеть в столовой полярной станции.

Прихожу в нашу комнату — там темно. Молчит за стеной и радиостанция. Чиркаю спичку и зажигаю лампу, чтоб раздеться, а главное, чтобы на кого-нибудь не наступить...

Спит, поджав по-детски ноги, Водопьянов. Молоков лежит на моей кровати, лицом к стене. Он то ли не спал, то ли проснулся от света лампы — повернулся, вытащил трубочку и попросил огня.

Аппетитно затянулся табаком и тихо произнес:

— Я, брат, все думаю об этой телеграмме... Герои Советского союза!.. Это очень высокое звание нам. И, мне кажется, не за что. Ну, что я сделал? Подумай-ка?.. Да ведь другой и каждый на моем месте сделал бы это, один больше, другой меньше. Ну, летал себе, знал — людей спасаю, своих... Это мой, так сказать, революционный долг. Ну, как ты думаешь?..

Он ждет моего ответа, широко открыв глаза.

— Я думаю, что действительно богата наша страна героями, если уж ты, спасший тридцать девять человек с пловучей льдины, совершивший перелет почти в три тысячи километров и девять полетов на льдину, считаешь, что сделал обыкновенное дело. Ну, что ж, в этом сила и счастье нашей страны!..

• • •

Дело шло к Первому мая. Ночи становились совсем короткими и светлыми. Чукчи, возвращаясь с охоты, волочили за собой золотистые туши убитых нерп и сообщали о все новых широких разводьях, образовавшихся совсем близко у берега.

Вчера зоолог Портенко убил первую пуночку — маленького полярного жаворонка. Сегодня мы видели, как с юга отличным строем пронеслась на Врангель стая гусей.

К полудню солнце сильно припекало. Собаки лежали около яранг, высунув языки, с крыши радиостанции падали капли таявшего снега, и ребятишки использовали это, как новую игру — ловили капли на язык.

Так ощущали мы теплое дыхание полярной весны.

Уэлен стал шумным и веселым. Никогда еще он не видел столько людей и, особенно, самолетов.

Ежедневно мы принимали и отправляли шесть-семь самолетов. Каманин, Молоков, Водопьянов, Доронин летали на Ванкарем и возвращались с челюскинцами.

Со дня на день ждали Ляпидевского. Чукчи, которые приезжали со стороны острова Колючина, сообщили, что машина у него поднята на ноги, заменена моторная рама и что летчики сейчас рубят торосы и заструги, очищая место для взлета.

Под вечер каждого дня со стороны Ванкарема прибывали по две-три нарты с челюскинцами, решившимися на «пеший дрейф» к Уэлену, чтобы внимательно осмотреть берега, мимо которых долго дрейфовал «Челюскин». Так однажды пришел Федя Решетников, щеголявший в шевровых штанах, сапогах «джимми» и пыжиковой рубахе с меховым галстуком. Так пришли и коменданты ледяного аэродрома Сашко Погосов и Витя Гуревич. Пришли Мартисов, Фетин, Ширшов, Синцов, Загорский и многие другие.

Отдохнув день-другой в Уэлене и сняв свои лагерные бороды, они снова зашагали за нартами в залив Лаврентия, где уже была приготовлена база на восемьдесят человек.

Ванкарем опустел. Женя Силов снимал аварийку и собирался в обратный путь на зимующие суда, к мысу Биллингса.

С одним из последних самолетов в Уэлен прилетели Бабушкин и Леваневский.

Самолетам предстоял новый этап — полеты в фиорд Провидение, куда пробивался сквозь льды Берингова моря «Смоленск».

Не все челюскинцы чувствовали себя на твердой земле одинаково хорошо. Напряжение двухмесячной лагерной жизни в окружении постоянных опасностей дало себя знать. Начали жаловаться на головные и глазные боли, болезни легких и желудка.

Поддались болезни даже Бабушкин и Бобров, поражавшие всех своей неутомимостью на берегу в первые дни после спасения. Их заботливо перевезли в Лаврентий. Там открылась целая палата больных, за которыми ухаживал и местный врачебный персонал культбазы и все здоровые товарищи-челюскинцы.

Доктор Фауст Леонтьев только-что на нарте приехал из Лаврентия.

Ехал он как обычно — одни сутки. Хорошо подготовленный и талантливый хирург, он там сделал пять чрезвычайно удачных операций и был доволен собой.

Пробыв на культбазе больше трех недель, он теперь собирался в новый объезд Чукотского района, равного по территории целой Бельгии. Вся его зимовка проходит на нарте, в ярангах

и в лаврентьевской больнице. Он воюет с шаманами и кулаками, лечит и медикаментами и горячим словом самоотверженного бойца за пролетарскую культуру. Доктор Фауст — коммунист.

Только-что доктор Фауст расположился поспать перед поездкой в тундру, как в домик зашла явно чем-то взволнованная Шрадер:

— Товарищ Леонтьев, я сейчас говорила с Лаврентием, сообщают, что ухудшилось состояние Боброва. У него перитонит...

— Перитонит?! — вскакивает доктор. — Ну вот, видите... ведь я ему вчера предлагал операцию.

Он начинает тревожно бегать из комнатки в комнатку.

Что делать? Перитонит — это опасная болезнь. Если во-время не оперировать — явная угроза для жизни. А хирург на весь район — он один. Поехать на собаках — это целые сутки... Самолетом? Как назло все машины разлетелись всего часа два назад — на мыс Северный и в Провидение. Стоит только один самолет «У-2», но Куканов отказался на нем летать: мотор недодает двести оборотов до нормы, работает со срывами.

Доктор все быстрее бегает по комнате, горячо доказывая как опасно промедление:

— Если не сделать операцию через три-четыре часа, мы можем потерять Боброва... потерять на берегу... это ужасно стыдно...

Из крайней комнатки выходит бледный Леваневский со свежим рубцом над бровью.

— Доктор, — говорит он, — давайте-ка запустим мотор на этом самом «У-2», и я посмотрю — может быть дело выйдет. Я полечу с удовольствием.

Заикаясь от радости, доктор Фауст благодарит пилота и бросается одеваться.

Леваневский, одетый в желтый американский комбинезон, внимательно осмотрев управление, садится в кабину. Мотор прогрет, можно запускать, но оказывается, что это совсем не так-то легко сделать.

Проходит добрых полчаса, прежде чем мотор начинает кашлять и, наконец, работать. Леваневский пробует его на всех режимах — работает, действительно, плохо, но... лететь можно.

Доктора усаживают в кабину. Он с трудом влазит туда в своей огромной оленьей дохе.

Леваневский дает мотору газ до предела, и самолет лениво скользит по снегу, медленно развивая скорость. После длинного разбега он все-таки отрывается от земли и тяжело ползет вверх.

Не успел скрыться Уэлен, как начались приключения.

Доктор Фауст, впервые ради больного Боброва усевшийся в самолет, к тому же очень близорукий, не узнает сверху знакомых мест. Первую

же бухту, где виднеются какие-то крошечные строения, он принимает за культбазу и просит снижаться. Леваневский улыбается:

— Ты, дорогой доктор, что-то больно прыток. Самолет летит со скоростью девяноста километров в час, до Лаврентия сто километров, а летим всего полчаса.

Леваневский продолжает полет. Минут через двадцать он замечает новую бухту и снова домики.

— Что это, не Лаврентий? — спрашивает он у доктора.

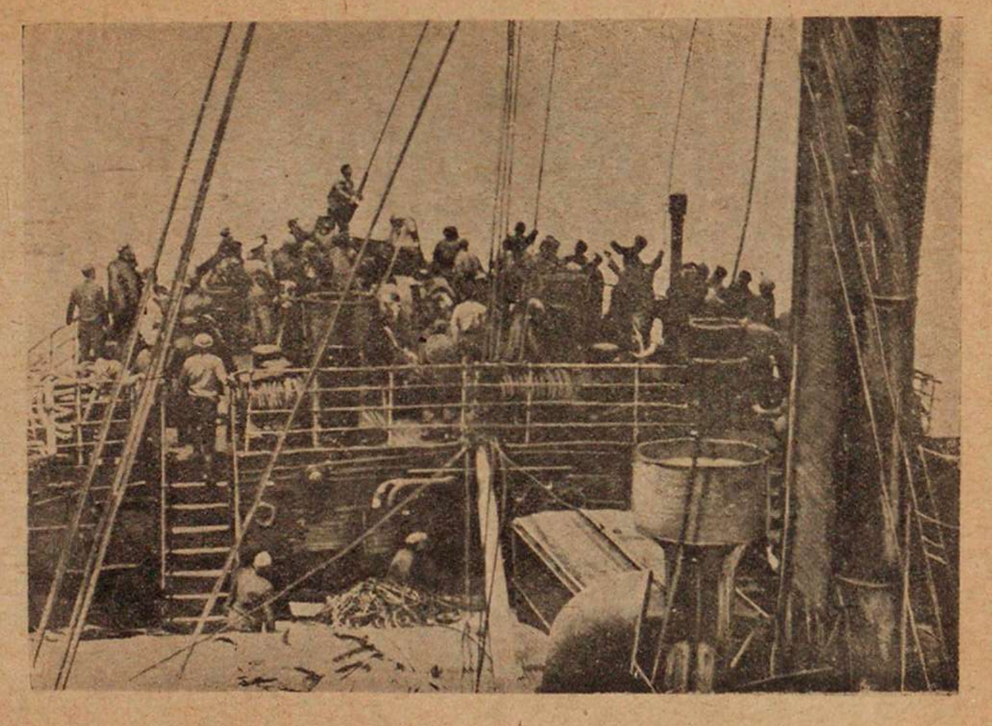
— Нет, что вы, — кричит доктор, — Лаврентий мы уже пролетели...

— Как так пролетели?.. — недоумевает Леваневский. И все-таки, невольно поддаваясь уверенности, с какой говорит доктор, поворачивает самолет назад. В это время он замечает, что температура масла подозрительно поднимается и мотор начинает кашлять все чаще и чаще. Самолет заметно теряет скорость и начинает опускаться.

Опасаясь, как бы не сгорел мотор, Леваневский решается на посадку — сбавляет газ и планирует. Самолет садится на пологий склон какой-то сопки.

— Где же мы находимся? — теряется Фауст.

— Не видите? — басит Леваневский. — Между гор, примерно в двадцати километрах от берега.



7 июня. «Смоленск» подошел к Владивостоку. Челюскинцы ловят листовки и цветы, сбрасываемые с самолетов.

Мотор кашлял, кашлял и совсем остановился.

Доктор вылез из кабины и мрачно зашагал вокруг самолета. Леваневский возится у мотора.

Неожиданно из-за горы выскакивает собачья упряжка и несется к самолету. Каюр останавливает собак. Доктор подходит к нему, здоровается и о чем-то спрашивает. Леваневский прислушивается.

— Лаврентий там? — показывает на юг доктор.

— И-ы-ы... — отвечает чукча, улыбаясь.

— Там Лаврентий? — Фауст машет на север.

— И-ы-ы... — улыбается чукча.

Доктор Фауст злится, с минуту молчит, кусая губы...

Резко повернувшись, он вдруг хватает чукчу за руку и тащит к гладкой снежной полянке.

Здесь он чертит на снегу нечто похожее на карту Чукотки.

Он надеется, что чукча сможет показать ему место, где сейчас опустился самолет и где находится Лаврентий.

Чукча внимательно следит за рукой доктора, восхищается его искусством, но ничего кроме «Каккумэ» доктор от него добиться не может.

Леваневский безнадежно машет рукой и просит оставить чукчу в покое.

— Помогите лучше запустить мотор, — гово-

рит он. — Если поднимемся, я как-нибудь сам найду культбазу.

Мотор уже остыл. Нужна заливка, но сделать ее нечем. Леваневский не находит в кабине ни шприца, ни какой-либо подходящей посудины. У доктора тоже нет ничего, кроме футляра для очков и коробки с зубным порошком.

Летчик, вытряхнув порошок из коробки, залил ею бензин в мотор. После напряженной возни мотор работает.

Леваневский, взлетев, вывел самолет к морю и вскоре увидел ряд больших домов на заснеженной косе. Фауст не утерпел:

— Вот Лаврентий.

— Ладно, вижу сам, — сердито бурчит Леваневский.

Внизу уже сбегались челюскинцы и ложились на снег, выкладывая своими телами посадочный знак.

Через пять минут доктор Фауст, освободившись от своей тяжелой дохи, во всю прыть бежал к больнице, где его ждали уже операционные инструменты и приготовленный к операции больной.

А через два часа всех нас в Уэлене обрадовала Люда:

— Операция прошла благополучно. Доктор Фауст прилетел во-время. Боброву уже лучше.

• • •

25 апреля вообще был радостный день.

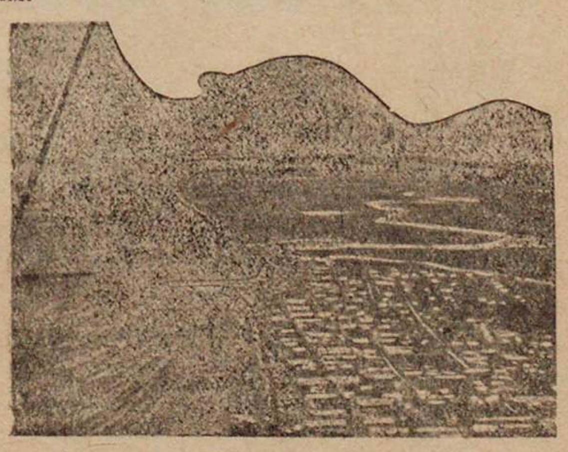
К вечеру в Уэлен слетелись все самолеты.

Благополучно вернулся с мыса Северного Водопьянов. Прилетели Молоков и Каманин. Вслед за ними — Доронин из Ванкарема, куда он перебрасывал зоолога Портенко, а оттуда захватил последних челюскинцев.

Прилетел Виктор Галышев, чтобы принять участие в переброске челюскинцев в Провидение.

Неожиданно Ляпидевский пригнал со льдов Колючинской губы свой «АНТ», на котором был сделан первый полет в лагерь челюскинцев.

И, наконец, совсем неожиданный гость. Прилетел наш дорогой Пивенштейн с Костей Анисимовым.





XXII

ПОЕТ и веселится Чукотка, празднуя великую победу.

Четыре бубна гремят на сцене под ударами ловких юношей-музыкантов.

На передних скамьях старики. Среди них Шеломов, Водопьянов, Доронин и Ляпидевский.

Много девушек в разноцветных камлейках.

Много матерей с шустрыми ребятишками на руках. Они весело тянутся ручонками к ярким картинкам. Их много на стенах — Большая Москва, Большая земля Советов, Большой Эрем[59] — Сталин.

— Ста-а-рин, — ласково улыбаясь, шепчет мать на ухо ребенку.

На сцену выходят лучшие танцоры — красавец Аттык и ловкий Камыиргин.

Они не только лучшие танцоры, но и лучшие здесь художники.

Вчера они вырезали на бледно-желтой кости моржовых клыков сценки из челюскинской эпопеи: «Челюскин» во льдах, — льды наступают на пароход; челюскинцы живут в палатках среди льдов — их палатки как яранги; вот на льдину летят самолеты и, наконец, — на покинутой льдине трепещет одинокий флаг.

Сегодня они воспроизводят ту же тему в танце.

Бубны меняют звук и такт. Музыканты подпевают. Льется песня без слов... челюскинцы слышат в ней знакомые завывания пурги.

Танцоры вихрем носятся по сцене. Меняется ритм танца — это кипит работа на аэродроме... Легкие плавные движения — летят в лагерь летчики...

...Смолкли бубны. Танцоры замерли коричневыми изваяниями... Строго и вдохновенно лицо одного, безграничной радостью сияет лицо Аттыка... Он высоко поднял маленький алый флажок...

• • •

Первомайское солнце катится в Советский союз отсюда, от мыса Дежнева.

У нас здесь — десять часов утра.

На Камчатке — восемь.

В Хабаровске — семь.

В Москве — полночь...

...Гулко бьют колокола Спасской башни — «Интернационалом» встречает красная столица новый Первомай.

Когда мы будем уже заканчивать наш скромный праздник, там — на орошенном утренней росой граните мавзолея величайшего учителя пролетариата — появится фигура любимого, великого вождя...

— ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВКП, ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТАЛИН!

загремит многомиллионный клич...

...Он гремит сейчас здесь, у нас, в маленьком глухом Уэлене.

Миниатюрна наша демонстрация — всего сто пятьдесят человек, но как бодро и радостно ша-

гает она: и о нас вспомнят в этот радостный день там, в далекой Москве, и везде во всех уголках исполинской Советской страны. Нас вспомнят с такой же любовью, с какой мы помним о ней...

Впереди высокий Водопьянов, а позади всех, цепляясь ручонкой за пионерку Каукау, чтоб не отстать, увязнув в глубоком снегу, бежит маленький Тэнмау, сын Гемауге. Он крепко держит в другой ручонке свою летающую модель «АНТ».

Полукругом мы становимся подле «АНТ». Мощная птица крепко привязана к земле.

Водопьянов с непокрытой головой взбирается на «моссельпром» и произносит речь. Как хотелось бы, чтобы эту речь слышала Москва, вся страна и весь мир...

— Мы встречаем Первое мая, как и всюду в нашей стране, победой! — радостно кричит он.

— Мы на своих родных советских самолетах вывезли со льдины всех челюскинцев. Вы все свидетели и участники этого великого дела.

— Мы долго и терпеливо готовили победу, мы все были в ней уверенны.

— И это понятно. Ведь все мы, как один, верные сыны нашей прекрасной социалистической родины, каждый из нас всем сердцем хочет сделать для нее только лучшее, только то, что укрепляло бы и прославляло ее. И это потому, что только теперь мы имеем родину. Это не старорежимная мачеха,

которая душила и угнетала рабочий класс и крестьян, выжимала все соки и измывалась над малыми народностями.

Это наша, родная Советская страна, отвоеванная нашей кровью, политая нашим трудовым потом.

— Вот мы — летчики — по воле родины стали ее героями. А мы ведь



такие же простые люди, каких миллионы в нашей стране. Мы исполняли свой долг — долг перед революцией, давшей нам все — радостную жизнь и счастье.

— Мы не готовились специально к этому полету — к челюскинцам в их ледяной лагерь — и не искали особых каких-то машин. Рядовые советские самолеты донесли нас сюда и вывезли всех людей со льдины.

— И всегда так будет! Мы всегда долетим, доверившись любой советской машине, до любой точки, какую нам укажет родина!

Уэлен — Хабаровск.
Май — август 1934 г.

ПРИМЕЧАНИЯ.

[1] Спальные меховые мешки. *Кукуль* — местное камчатское название.

[2] Плетеные короткие лыжи из ивовых прутьев.

[3] Матерчатые халаты с капюшоном, которые чукчи, коряки и эскимосы носят поверх меховой одежды, защищая мех от снега.

[4] *Уммка* — белый медведь.

[5] *Этти* — чукотское приветствие. В буквальном переводе — пришел.

[6] Так шутливо называют здесь слухи, которые обычно от яранги к яранге очень быстро облетают Чукотку.

[7] *Кухлянка* (коряцкое слово) — двойная шуба из оленьего меха. Одевается через голову.

[8] *Наст* — верхняя корка, покрывающая слежавшийся снег. Особенно быстро образуется после оттепели. Заструги — снежные бугры, наметенные пургой.

[9] ГУСМП — Главное управление Северного морского пути под начальством О. Ю. Шмидта, созданное по инициативе т. Сталина после блестящего рейса «Сибирякова» в 1932 г., прошедшего в одну навигацию из Архангельска во Владивосток.

[10] Носовая часть корабля, являющаяся продолжением киля.

[11] *Дрейф* — положение, при котором корабль, прекратив работу машин, двигается далее вместе со льдинами, дрейфует...

[12] Передняя мачта корабля.

[13] *Оскар Вистинг* — капитан судов, на которых совершал свои путешествия Амундсен.

[14] *Арктика* — северный полярный бассейн, Антарктика — южный.

[15] Верх борта, заканчивающий обшивку судна.

[16] Отверстие во льду, в данном случае прорубь.

[17] *Найтовы* — веревки, которыми крепится груз на корабле.

[18] То же, что и кухлянки. *Малица* — архангельское название.

[19] *Камбуз* — судовое название кухни.

[20] Запряжка «елочкой» — попарно.

[21] *Каюр* — погонщик собачьей упряжки.

[22] *Остол* — короткая палка с металлическим наконечником для торможения.

[23] *Малахай* — меховая шапка в виде капора.

[24] *Девиация* — отклонение магнитной стрелки компаса от линии магнитного меридиана.

[25] Плохо, плохо.

[26] Ой, голове как плохо. Ты упал, летчик, упал?

[27] Квашеное моржовое мясо.

[28] «Т» — знак в виде буквы Т, обозначающий место посадки самолета.

[29] Мех только-что родившегося оленьего теленка.

[30] Речь идет о книге Геральда Свердрупа *„Плавание на судне „Мод“* (издание Академии наук СССР, 1930). Там (на стр. 98) после описания неудачного полета «Кристины» — самолета, который был на «Мод», — Свердруп пишет: «Согласно нашему опыту удачные полеты с

базой в пловучих льдах, осуществимы только в том случае, если предпринимать их в конце апреля и начале мая, да и то при условии, что мотор может быть пущен в ход и будет надежно работать на 20-градусном морозе. Только в это время года можно рассчитывать на устройство такого аэродрома, который продержался бы в целости хотя бы в течение короткого времени. Но даже при соблюдении этих условий полеты неизменно будут сопровождаться величайшим риском. Над местностями, для которых имеются детальные карты, летчики всегда могут рассчитывать узнать реку или водное пространство и изменить соответственно с этим свой курс, но в пловучих льдах они не найдут такой руководящей приметы. Мало вероятия в том, что летчики сумеют вернуться именно к тому месту, откуда поднялись, им будет очень трудно отыскать базу, теряемую из виду на расстоянии 15 км, которые аэроплан проделывает в течение 6 минут времени».

Тут же приводится выдержка из статьи Роальда Амундсена в «Нью-Йорк Таймсе» от 14 марта 1926 г. Амундсен после своего полета к Северному полюсу писал: «Я думал, что возможность найти место для спуска на пловучем льду осуществима. Но я смотрел на лед глазами моряка, которому он кажется плоским. Небольшие выпуклости и неровности казались мне безвредными. Теперь я вижу, что они опасны, я знаю, что спуск на льду ни в какой степени не гарантирован».

[31] Пилотские очки.

[32] Авиационная ткань, которой обтянуты плоскости крыльев.

[33] Показатель направления ветра.

[34] По-чукотски — да.

[35] Слово, выражающее удивление.

[36] Пошел на Ванкарем (чук.).

[37] Короткие мягкие обутки из шкуры нерпы с лахтачьей подошвой в роде индейских мокассин.

[38] Собаки.

[39] Нарты.

[40] Спальная квадратная палатка из оленьих шкур, которая помещается внутри чукотской яранги. В юроунге всегда горят 2-4 жирника.

[41] Прибор, с помощью которого запускается мотор.

[42] Плоскость хвостового оперения.

[43] Чаепитие.

[44] Рекордсменский самолет Маттерна был разрисован под оперение орла.

[45] Так называется стальной сварной узел, которым крепятся верхние крылья к центральному плану.

[46] Понимаешь?

[47] Кейнин — бурый медведь, встречающийся в южной части Чукотки.

[48] Есть ли?

[49] Нет...

[50] Квашеная моржатина.

[51] Запах оленей.

[52] Бортмеханик, с которым Водопьянов совершал перелет Москва — Камчатка, убитый при катастрофе на Байкале.

[53] Так американцы дружески-фамильярно сократили фамилию летчика.

[54] *РАЕМ* — позывные радиостанции лагеря Шмидта.

[55] Что такое ударник?

[56] *Камус* — шкурка с оленьих ног.

[57] Очень здорово.

[58] Разница во времени с Уэленом почти на 10 часов. Значит в Уэлене 12-15 часов дня.

[59] *Эрем* — ведущий, вождь.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В КНИГЕ.

Редактор
Е. Бруй.
Технические редакторы:
В. Пилюшин и В. Цветков.
Супер-обложка, переплет, форзац,
портреты и ретушь фотографий
худ. В. Нагишкин.
Отв. корректор
Л. Калашников.

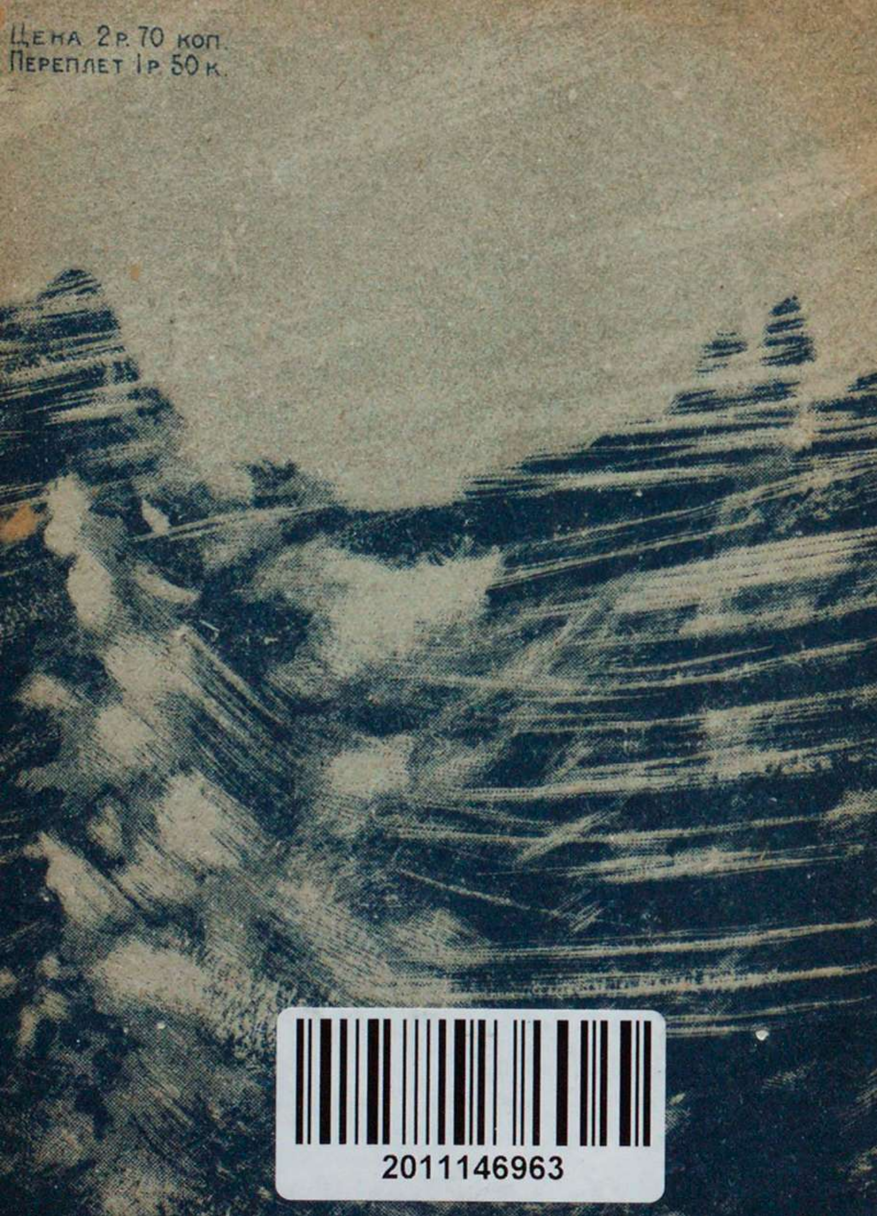
В РАБОТЕ ПО ИЗДАНИЮ КНИГИ
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

Линотиписты
Н. Буланов и И. Киселев.
Метранпаж
А. Вольф.
Печатник
Ф. Салин.
Цинкограф
Т. Миненко.
Переплетчики
Т. Епанешников и В. Похлебаев.
Литографы
И. Рубинов, М. Жилин, Д. Гоненко, Ван Юн-хио,
Б. Широбоков.
Технический директор
Н. Коновалов.
Директор
Ф. Собинов.
Общее наблюдение за оформлением
Е. Бруй.

Сдано в набор 23/X-34 г. Последний лист подписан к печати 2/XII-1934 г. Крайлит А-599. Огиз Хб. 1253. Объем $9\frac{7}{8}$ печ. лист. (9 авт. л.) Бумага 72x105/32. Колич. знак. в 1 п. листе 45600. Тираж 20000 экз. Зак. тип. 126. Типо-литография Дальгиза им. Волина. Владивосток, Ленинская, 43.

ГИЖИГА
ОХОТСК
НАГАЕВО
АЯН
НИКОЛАЕВСК
ХАБАРОВСК
ВЛАДИВОСТОК
САХАЛИН
КАМЧАТКА
Япония
СОВ

ВОДОПЬЯНОВ
ДОРОНИН
МОЛОКОВ
ЛАГЕРЬ
ШМИДТА
м. СЕВЕРНЫЙ
м. ВАНКАРЕМ
КАМАНИН
СЛЕПНЕВ
ЛЯПИДЕВСКИЙ
ЛЕВАНЕВСКИЙ
АНАДЫРЬ
НОМ
СМОЛЕНСК
СТАЛИНГРАД
о. ЛАВРЕНТИЯ
МЕНСКОЕ
м. ОЛЮТОРСКИЙ
КРАСИН
АЛЯСКА


Цена 2 р. 70 коп.
Переплет 1 р. 50 к.
2011146963